

# КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

II

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ  
ОЖИДАНИЙ



# Константин Георгиевич Паустовский

## Романтики

*OCR Busya*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=156934](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=156934)*

*Константин Паустовский «Время больших ожиданий. Повести, дневники, письма». Том II: ДЕКОМ; Нижний Новгород; 2002*

### Аннотация

Особенность данного издания в том, что события романтической прозы Паустовского как бы проецируются на экран действительности и личной жизни писателя, отраженной в его письмах и дневниках, воспоминаниях и комментариях сына Вадима.

«Роман „Романтики“, не являясь в прямом смысле слова автобиографическим, был для писателя своего рода лирическим дневником.

Письма и дневники К. Г. Паустовского, комментарии к ним публикуются впервые.

Сын писателя, Вадим Константинович Паустовский, для данного издания написал ряд статей, ставших результатом его исследований творчества отца.

# Содержание

СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЕЧКО. Предисловие Вадима Паустовского	7
I. ЖИЗНЬ	17
Старый Оскар	17
О творчестве	23
Смерть Оскара	26
Жучок	29
Сантуринское вино	36
Незнакомый город	44
Хатидже	49
Уличный скрипач	53
Пароходные дымы	56
Города из листьев каштана	58
Апельсинная корка	61
Свечи и лампы	64
Праздничная тишина	67
Evviva Garibaldi![2]	70
Любовь	72
Цветы	75
Большая Медведица	79
Винклер	84
Скандал в литературном кружке	88
Отъезд	94

II. НАЧАЛА И КОНЦЫ	98
Одиночество	98
Газета	102
Вот она, Москва!	109
Окраины	116
Записка	122
Норвежский капитан	126
Лихорадка	132
Лодыри	138
Река Серебрянка	142
Ночная встреча	149
Вечный Город	156
Обручение	159
Южный поезд	164
Бахчисарай	166
Смерть Винклера	171
Дневник	178
Горячие полудни	185
Рыбачий поселок	189
Театральный монолог	198
III. ВОЕННЫЕ БУДНИ	216
Стеклянная осень	216
Поля сражений	221
Бернардинский костел	224
Затишье	227
Звезда над городами	231

Панна Гелена	236
Большой фонтан	241
Ваша свеча короче	246
Трупы в реке	249
Макензен	252
Страна Шопена	255
Чужой отряд	257
Конец	262
Яблочный сад	265
Цветут поля	268
Пустяковая рана	271
Город в полях	275
Венок из клена	278
Спустя неделю	281
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	282
Записка зав. Отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР Н. Казьмина в ЦК КПСС о нецелесообразности публикации статьи К. Паустовского «Кому передавать оружие?»	282
<b>К. Паустовский. КОМУ ПЕРЕДАВАТЬ ОРУЖИЕ?</b>	283
Записка зав. Отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР Н. Казьмина о настроениях среди писателей	289
Докладная записка в ЦК КПСС	292



# Константин Паустовский

## Романтики

### СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЕЧКО.

#### Предисловие Вадима Паустовского

В творчестве Константина Паустовского особое место занимали «Романтики» и «Повесть о жизни». Первое произведение знаменует начало творческого пути, второе – его конец. Но вместе с тем есть в них и известное сходство. И если «Романтики» вышли в свет в виде сравнительно небольшой повести, то лишь потому, что они были сокращены самым безжалостным образом. «Повесть о жизни» писалась более двадцати лет, «Романтики» – около двадцати. Даты 1916—1923, проставленные в конце этой книги, следует понимать условно. Верна только дата начала, в самой же книге частично отражены ситуации, имевшие место уже в конце 20-х годов. Отец не отразил того, что неоднократно возвращался к рукописи, дополнял ее, изменял те или иные эпизоды, устранил отдельных героев и вводил новых, непрерывно продолжал совершенствовать стиль. И так почти до середины 1930-х годов, когда впервые предоставилась возможность ее опубликования.

Объединяет эти книги еще и то, что они написаны от первого лица и обе в большой степени автобиографичны, в то время как отдельные места от первого лица, скажем, в «Кара-Бутазе» или «Черном море», носят скорее условный характер.

Ни одна из его книг не вызывала столько разноречивых отзывов, как «Романтики». Кто полюбил ее в ранние годы, сохраняет к ней привязанность и позже. Запомнились слова молодого врача, совпадающие с моим восприятием книги:

– Когда перечитываю «Романтиков», каждый раз словно озонируюсь. Не знаю почему. И совсем независимо от содержания... Там есть что-то такое «между строк». – После этого он неожиданно произнес фразу, сказанную одним из героев книги: – Блеск и величие жизни!

Для отца в пору его молодости «Романтики» стали своего рода лирическим дневником, второй жизнью, жизнью в воображении, без которой он не мог существовать. Он повсюду таскал с собой неоконченную рукопись, называя ее в дневниках и письмах «Мертвая зыбь». С годами рукопись разрослась необычайно.

«Повесть о жизни», казалось бы, мало похожа на «Романтиков», но все же можно проследить явную их преемственность. И не только в отдельных совпадениях (фронт 1914 – 1916 гг.), но и в привычке автора дополнять и преобразовать реальную жизнь, в первую очередь свою собственную.

Отец прожил сложную и далеко не легкую жизнь. Многое



из нее отражено в этом большом биографическом романе, но многое и не отражено. Он жил вместе со страной, скитался по стране в дни тяжелых для нее испытаний, не раз подвергался смертельной опасности, перенес потерю многих близких людей.

С самых ранних лет он стремился к писательству как самовыражению и научился очень многим жертвовать для своей творческой работы.

В личной жизни он был далеко не однозначен. Мог быть и снисходительным, и нетерпимым, не раз обретал и терял друзей, трижды был женат, причем все его жены были личности незаурядные.

Мои родители познакомились в конце 1914 года, когда оба работали в санитарном поезде. В следующем году сестра милосердия, как тогда говорили, Екатерина Степановна Загорская возвращается в Москву.

Несколько слов о ней. Она родилась в Рязанской губернии в семье сельской учительницы и священника. Рано потеряла родителей и воспитывалась старшей сестрой Лелей (Еленой Степановной Загорской), преподававшей в гимназии города Ефремова. Училась в Рязанском епархиальном училище, затем на Высших женских курсах в Москве. Завершала образование в Париже.

После работы в санитарном поезде она уезжает в Севастополь, где преподает французский язык в Мореходном и Коммерческом училищах. Оставив полевой санитарный отряд,

отец едет следом и приезжает к Екатерине Степановне (уже невесте) в Севастополь. Потом оба оказываются в Таганроге, откуда возвращаются в Москву.

Летом 1916 года они венчаются в ее родном селе. В блокноте отца есть такая запись:

«Поля, перелески, синие дали – ея Родина.

У ветряной мельницы. Подлесная Слобода. Церковь. Могила мамы. Запущена, вся в травах. Их сад. У о. Алексея.

Простенький деревянный домик. Матушка с заплаканными глазами. О. Алексей аскет, немного суровый. Чай. Дали за окном. С девочкой Надей в их сад. Хатидже радостна, как девочка... К Аксюте – няне Хатид-же. Ея уютное ласковое детство, овеянное любовью...»

Почему – Хатидже? Просто так ее называли молодые татарки в крымской приморской деревушке, где она проводила предвоенное лето. Отцу очень нравилось имя Хатидже – так по-татарски звучит Екатерина. Так оно вошло в его письма и дневники тех лет, так он ввел его в «Романтиков».

В тревожном 1917 году они сотрудничали в московских газетах и журналах, а весной 1918-го перебрались в Киев, к матери отца. Затем с 1919 по 1922 год – Одесса, совместная работа в газете «Моряк». Мама заведует иностранным отделом, отец – редактор. После Одессы – скитания по Югу. Сухум, Батум, Тифлис. В 1923 году – возвращение в Москву, поиски работы, сотрудничество в разных журналах, жизнь за

городом, в Пушкине, затем первая комната, уже своя, в подвальной, в Обыденском переулке, где я появился на свет. Вскоре и квартира на Большой Дмитровке.

В «Повести о жизни» и других книгах отца отражено много событий из жизни моих родителей в ранние годы, но, конечно, далеко не все. Немало рассказов об октябрьском перевороте в Москве, о гражданской войне на Юге, о голоде в Одессе, тропической малярии и неистребимом людском жизнелюбии я слышал еще в детстве. И должен сказать, что в устном исполнении очень многое оставляло более сильное впечатление. Даже чисто «литературно». Хотя бы эпизод, как отца чуть не расстреляли по ошибке. Или веселую историю о том, как мама в блокадной Одессе с большой точностью предсказала начинающему Бабелю его будущий литературный успех. (Это обстоятельство косвенно нашло отражение в «Романтиках», где девушки-татарки приходят к Хатидже гадать по руке.)

Итак, Хатидже – если не двойник Екатерины Загорской, то все же обладает с ней несомненным сходством.

Имеют своих реальных прототипов и другие персонажи «Романтиков», причем в «Повести о жизни» они нередко названы собственными именами. Истории из жизни журналиста Василия Регинина (в частности, приключение со львами) дали материал для образа Любимова. Начальник санитарного отряда Вронский встречается в «Романтиках» как Козловский, в «Повести о жизни» он назван Тройским.

Все годы учения в гимназии отец сидел за одной партой с Эммануилом Шмуклером (1892 – 1957), впоследствии художником. Их дружеские отношения продолжались и впоследствии. Шмуклер стал прототипом Винклера в «Романтиках», а черты другого своего гимназического друга – Евгения Станишевского приданы Станевскому. Однако Шмуклер вовсе не погиб в юности, а дожил до почтенных лет, а Станишевского, как признается автор «Повести о жизни», он после гимназии потерял из виду.

Как видим, персонажи отнюдь не совпадают с прототипами и с жизненным материалом писатель обращается весьма свободно.

Особенно ярким примером служит история «старого Оскара» и потерянной оперной партитуры. Прототипом этого персонажа был Оскар Федорович Иогансон (р. 1858) – преподаватель немецкого языка в 1-й киевской гимназии, где учился отец. Подробно эпизод с потерянной оперой рассказан в «Повести о жизни», и мы знаем, что он завершился вполне благополучно.

Однако в «Романтиках» Оскар умирает. Возможно, романтический настрой автора требовал трагических ситуаций и сильных переживаний. Умирает и Винклер, хотя его прототип остался в живых, умирает Наташа – так же как героиня «Повести о жизни» Леля Свешникова.

Об этих героинях следует сказать подробнее и вернуться к «женской теме».

В «Романтиках» присутствует одинаковая по силе любовь главного героя к двум женщинам, что не редкость в мировой литературе. Но нередко многие авторы сами относятся к этому факту с недоумением, не вдаваясь в психологические сложности. Паустовский хочет разобраться в своей любви как в стимуле к творчеству. Именно в любви к двум.

Он отстаивает право на такую любовь, даже за счет вымысла. Ведь только одна из героинь соответствовала прототипу, существовавшему в действительности в его жизни на протяжении значительного отрезка времени. В облике другой – собраны воедино образы, порожденные несколькими увлечениями, достаточно сильными и искренними.

Но читатель не подозревает об этом. Он уверен в «образной цельности» и в реальности второй героини, как и первой. Вымысел приобретает убедительность самой жизни и, может, даже превосходит ее. Не в этом ли и заключается сама сила литературы?

Обе героини «Романтиков» очень обаятельны, но крайне не похожи одна на другую. Они дополняют друг друга и, возможно, в целом создают тот собирательный женский образ, что так мучительно ищет главный герой книги.

Если с прототипом Хатидже все ясно, то с образом второй героини книги – Наташи – дело обстоит сложнее. Здесь можно говорить о нескольких прототипах сразу.

На фотографии времен Первой мировой войны – сестры милосердия и санитары полевого санитарного поезда 226

вместе с главным врачом Иваном Петровичем Покровским. Среди сестер – Екатерина Загорская (Хатидже). Но в данном случае нас уже интересует и прототип Наташи. Это Елена Крашенинникова, или попросту Леля. Ее имя затем использовано в «Повести о жизни», где героиня, заболев, умирает на фронте, как и Наташа в «Романтиках».

Однако подлинная Леля не умерла. Вернувшись в Москву, она стала артисткой и играла в театре-студии Фореггера в 1920-х. Мои родители не раз были на спектаклях, встречались с ней и в дальнейшей жизни. Эта «цепочка» объясняет, почему у автора «Романтиков» героиня – артистка. Но по имени она пока еще не Наташа. Она получила это имя, по утверждению моей матери, после знакомства отца с сотрудницей РОСТА Наташей Морозовой.

И у Наташи Морозовой, и у Лели Крашенинниковой оказалось много общего в характерах – некоторая капризность, резкость, склонность к неожиданным поступкам. Все это было совсем не свойственно Екатерине Загорской, но, видимо, сочетание контрастов женских образов привлекало писателя. Это к тому же давало простор воображению.

Поэтому, когда ко мне обращались читатели, и в особенности читательницы, с неизменным вопросом о Леле: «была – не была», я обычно уклонялся от ответа. Единственный раз сделал исключение для пожилой тетки моего друга – Софии Владимировны Т. (это было еще при жизни отца). Человек очень интересной судьбы, она объехала полмира, кого толь-

ко не знала – от последних народовольцев до членов императорской фамилии. Разговаривать с ней всегда было исключительно интересно, но каждый раз она начинала мне читать свое любимое место из «Повести о жизни» и, конечно, – о смерти Лели. Кончилось тем, что я выложил ей правду и к тому же веско аргументировал ее. Она очень опечалилась и сказала:

– Я, разумеется, понимаю, что вы правы, но лучше бы вы мне этого не говорили...

Потом словно спохватилась:

– А колечко? То самое серебряное колечко, что ваш папа снял с руки умершей Лели и надел себе на мизинец. Он об этом писал. И он до сих пор носит его. Я была на литературном вечере, где он выступал, специально подходила поближе и очень хорошо все рассмотрела. Спросите у него, когда увидите...

Это меня заинтриговало, и при первой же встрече с отцом я все рассказал ему. Он слушал точно с таким же грустным выражением, как и у Софии Владимировны. Потом не спеша протянул руки, на которых, как обычно, не было никаких колец... Так кончилась эта маленькая история о том, как простой читатель сумел проявить силу воображения, равную писателю.

Смерть Лели в «Повести о жизни» нельзя считать вымыслом, скорее это символ. Но символ не абстрактный, а воплощенный в конкретную драматическую ситуацию. «Война

не есть дело человека» – вот истина, которую Паустовский усвоил для себя и как писатель хотел, возможно, наглядно донести до других. Видя войну «изнутри», он решил также «изнутри» показать ее плоды литературно.

Он потерял на войне двух братьев, но описал гибель любимой женщины и тоску оставшегося мужчины, потому что союз мужчины и женщины составляет основу жизни. Сам он, однако, не утрачивал на войне любимую, потому и собрал воедино черты нескольких героинь, чтобы создать более убедительный образ.

В третьей части «Романтиков» отсутствуют обе женщины, в которых влюблен герой, их место заняли фронтовые соратники. Лишь в конце как бы пунктиром появляется Наташа, чтобы вскоре умереть, а завершает книгу реплика Хатидже. Но в «Повести о жизни» обе героини как бы сливаются воедино в образе Лели Свешниковой, даже по чертам характера, и ее гибель становится главной потерей продолжающего жить еще многие, многие годы главного героя.

Две его основные автобиографические книги словно протянули друг другу руки.

*Вадим Паустовский*



# І. ЖИЗНЬ

## Старый Оскар

Была привычная горечь в этих разговорах со старым композитором в темном кафе.

Старик был еще строен для своих шестидесяти лет. Когда бывал пьян, то плакал, поносил свою службу – он был учителем немецкого языка в гимназии – и пытался незаметно засунуть в рукава исписанные нотами манжеты.

Он написал фантастическую оперу. Ни один театр не соглашался ее поставить, хотя старик уверял, что она не хуже вагнеровского «Тристана».

– Посмотрите на мои пальцы! – вскрикивал он и жалко тряс головой. – Это пальцы для клавиш и струн. О Генрих Гейне, Генрих Гейне, зачем он умер так рано! Я люблю старую западную жизнь, этих людей, которые умели смеяться и понимали музыку. Я люблю даже всех вас, хотя в гимназии вы издевались над Новалисом. Сотни раз я говорил вам: «Не пристраивайтесь к жизни. Скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей».

Мы молча пили кислое вино и курили. Южный город шумел под белыми сентябрьскими звездами.

Пришел Сташевский – уверенный и насмешливый. Старик устало улыбнулся и замолчал.

– Блеск и величие жизни! – сказал вдруг Сташевский, пуская густые клубы дыма. – Блеск и величие жизни, – повторил он и замолчал. Говорил он отрывисто. Связь между его словами была неуловима для человека, плохо знавшего его.

– Оскар! – восторженно выкрикнул он. – Оскар, напишите оперу, чтоб в каждой ноте ревела жизнь. Понимаете, жизнь дурашливая, крикливая, как клетка с попугаями. Ну что, разве плохая тема? К черту ваших жен в ситцевых капотах! Задушите канареек и уезжайте в Вену. Это город для вас. Пейте там, плачьте на судьбу проституткам, шляйтесь по рынкам, возвращайтесь в свою комнату на рассвете, когда пахнет цветами и капустой, – и вы напишете великолепную оперу.

У Оскара задрожали руки.

– Он пьян, – сказал я тихо и отодвинул стакан Сташевского.

– Сидеть здесь глупо. Сосать настоящий на клопах коньяк и хныкать о загубленной жизни. Подходит смерть, и жаловаться на бога не приходится.

Он стукнул кулаком по столу.

Лакеи насторожились. Далекая зарница загорелась и погасла над морем.

Оскар вдруг заторопился и снял очки.

– Не кричите, Сташевский, – сказал он и оглянулся. – По-

молчите, ради бога, десять минут. Не перебивайте, я сейчас расскажу вам о хорошей жизни.

Глаза его сузились, заблестели. Голос стал глух и слегка задрожал. Медленно пустело кафе.

– Да... еще мальчишкой, – тихо, будто припоминая, сказал Оскар, – у меня была одна мысль – создать такую музыку, чтобы кружилась голова. С детства у меня были длинные пальцы, пискливый голос и дерзкие мысли. Вырос я среди амбаров, где на три вершка лежала белая пыль и до потолка были навалены мешки с житом. Мой отец держал хлебную ссыпку. У нас в доме стояли конторки, и мои братья горбились над пудовыми гроссбухами, вписывая туда сотни и тысячи цифр. Бухгалтерия! Копейка должна сойтись с копеечкой. Поэтому бухгалтера обычно такой мелочной народ.

Потом классическая гимназия, двойки, детские пороки, потные руки, замазанные чернилами. Я любил слизывать их языком, – они очень кислые и стягивают кожу.

Мать с тощим узлом волос на затылке, в башмаках с резинками, всегда с таким лицом, будто она выпила полынной настойки. Да, собственно, радоваться было нечему. Братья ходили в плотных коричневых парах, на коленях у них висели мешки, из их комнаты воняло прелыми носками и креозотом, – у старшего была чахотка. Я их ненавидел.

Отец был солиден, молчалив и зол. Он носил очки и острые усы, как у любимого кайзера. Я ведь немец из колонистов, из этого рыжего, крепкого и злого кулачья! Из меня

отец хотел сделать коммерсанта.

– Я хотел бы музыки, отец!

– Музыка? Болван! Ты хочешь учить барышень и играть танцы на маскарадах? Ты хочешь быть тапером, скотина!

Я был слаб и часто плакал. У меня уже тогда дрожала голова. Отец донял меня. Но я все же выбрал лучшее занятие, чем коммерция. Я стал учителем.

Потом случился брак. Как, почему – видит бог, не знаю. Жена – анемичная «фрейлен» из богатого дома. Она привезла в мою комнату розовую пудру, канарейку Мицци и запах женского пота. До сих пор я дрожу от отвращения. А эти нудные гости и родственники, обеды в столовой, где вечно какой-то желтый свет и нестерпимо пахнет луком из кухни.

Женившись, я сделал необычайное открытие. Это покажет вам, как я был еще глуп. Я понял, что семейная жизнь приспособлена к тому, чтоб ходили гости, чтоб обедать на клеенке, добродетельно тискать рыхлую женщину и сейчас же после «любви» ссориться из-за больших расходов.

Но ночи были мои. Ночью я вставал, зажигал лампу и писал, усталый от классной вони, от сотен склонений и спряжений. Да... По ночам я писал. Мне не хватало нотной бумаги. Это было как чудо. Я слышал – не смейтесь! – я отчетливо слышал, как облака звучали над землей, фаготы высвистывали бешеный танец, и хлопали от ветра старые знамена. Я писал и слышал, как расцветала под моими пальцами легенда об иной жизни, где солнечные дали открываются одна

за другой. Я населял веселыми толпами матросов и цыганок черные гавани. Выстрелы пистолетов сливались в барабанную дробь, и колокола качались и гремели во славу средневековых весен. Я понял, что значит восторг. Вы знаете это слово – восторг? – крикнул он и встал. – Я писал обо всем: о горечи любви и величии непередаваемого, о боге и вечной жажде перемен.

Он сел и надолго замолчал.

– Потом... – сказал он упавшим голосом. – Э-э, да что потом... Директора театров, рецензенты, обиженное молчание жены, черствая булка за столом, переводные экзамены, тошнота.

Он поморщился, отыскивая в кармане папиросу.

– Вы знаете, что мне говорили? «Ваша музыка слишком фантастична и беспорядочна. Ваша музыка напыщенна. Поставить оперу трудно». Были, правда редко, любезные отказы. Обычно же отказывают по-хамски. Кое-что я играл на концертах, но это было мучительно. С утра оттирать на сюртуке пятна, завязывать галстук, уходить на концерт раздраженным и слушать жидкие хлопки. Стыдно! В газетах писали: «глуховатость тонов, отсутствие музыкальной механики». Вы слышите, – механики! Талант – как горчица к шницелю, а выше всего – «звуковая механика».

Были добродушные насмешки друзей. Они злее, чем самые злые насмешки родных. Тот же сонный покой и скука в глазах жены, дрянное вино, дешевые рестораны и несколько

вас, молодых, – вот и все, что осталось.

Я побежденный, но я не сдамся, ибо я – победитель.

Широко шумел ветер, разбрасывая по столикам листья каштанов, уже тронутые ржавчиной.

Мы вышли молча. Шумели ночь и море, и девушки, не знавшие любви, шепотом звали за собой. Под ногами шуршала листва.

# О творчестве

Я проснулся от гула в печной трубе. В саду слонялся сонный день, кутался в дым, тускло светился в подмерзших лужах.

Была такая тишина, будто весь город спит. Я сел к столу и написал несколько строк. Я толком не знал, о чем я буду писать. Обо всем. Об этой осени, о том, что кровь туго бьется в сердце и мокрый песок в саду пахнет зимой.

Мать никогда не знает, каким будет ее ребенок. И я знаю только одно – я хочу писать. Я слушаю, как далеко и сердито трубит пароход в открытом море, я слушаю свист ветра в голых сучьях за окном. Мои руки зябнут. Я прислоняюсь спиной к теплой печке и, кутаясь в легкое пальто, пишу обо всем, что мне приходит в голову.

Все, что я пишу, – баловство. Так говорит Сташевский. Но из этого тумана рождаются иногда простые и свежие образы. Я знаю это, и слова Сташевского проскальзывают мимо, не задевая сердца. Я могу писать обо всем, что мне хочется. Почему рассказ должен быть не меньше двух страниц? Пусть он будет в одну строчку – от этого он не станет хуже.

Туман стоит зеленой морской водой, рыжая осень осыпается в переулках, и глаза женщин темнеют от любви к крошечным детям.

Я пишу о сером и теплом вечере, когда от пасмурной во-

ды еще сочтется запоздалое тепло и запах подводных трав, о капризах детей с изумленными глазами. Все это небрежные слова, наброски, но эти образы преследуют меня.

Я пишу о теплом женском дыхании, сумраке приморских кафе, о Шелли, о снежной музыке Грига, о желтых берегах Эллады и смерти Байрона. Судорожно, словно боясь опоздать, я бросаю эти мазки из слов.

В лабораториях университета я наблюдал процесс кристаллизации. Из мутного раствора слагаются тонкие плоскости и растет прозрачный и твердый кристалл, преломляющий солнце. То же и со мной сейчас.

Каждое утро меня будит гомон воробьев. Я чувствую, как еще по-мальчишески молодо мое тело.

Алексей спит долго, зарывшись головой в подушку.

Мы все трое студенты. Мы вместе сдаем зачеты и работаем в вечерней газете. По вечерам Алексей считает строчки, а по утрам идет браниться из-за гонорара. Чаще всего он пишет обширные фельетоны о вещах злободневных – краже Джоконды, полетах Блерио и постройке Амурской дороги. Газетная работа выхолостила его слова, отбила углы, и он одинаково легко пишет передовицы, рецензии и рассказы о прелестях бродячей жизни. Вдвоем мы сочиняем длиннейший роман с продолжением – «Бутылка джина в Одессе». Все это печатает старый, страдающий астмой издатель Днестропуло, прижимистый бритый старик.



Он терпит. Лишь изредка, перечитывая сотое продолжение, он кричит, притворно раздражаясь, в пространство:

– Что будет с этого романа в конце концов?! Что, я спрашиваю? Они далеко пойдут, эти молодые люди, – прямо в арестантские роты!

Нас связывает эта жизнь. Мы болтаемся большей частью без дела, просиживаем дни в трактирах, научились по цвету дыма отличать английский уголь от антрацита, а по оснастке – шхуны от баркантин и трамбаки от барков. Их изъеденные червем кузова полощутся в крепком рассоле порта. Особенно хорошо и просторно бывает в дождь, когда дым прилипает к влажному молу и в камбузах беспечные коки варят крепкий кофе.

По вечерам бульвары розовеют от пыли и заката. Исполнинской медалью светит луна, и надрываются скрипки под полосатой парусиной баров.

Ночь, как тихий фонарщик, зажигает огни, ветер гуляет по черному небу, и оскорбленно кричат пьяницы, вышвырнутые из кабаков.

Я много пишу. Меня волнуют самые звуки слов.

# Смерть Оскара

Утром ко мне пришел Сташевский: умер старый Оскар.

Старику не везло – незадолго до смерти он потерял в трамвае единственную партитуру своей оперы. Он был потрясен и пил запоем несколько дней.

Мы пошли к Оскару. На сырой лестнице было темно и пахло мышами. Желтели стены, выкрашенные масляной краской, захватанные грязными пальцами.

В квартире стоял запах уксуса и нашатырного спирта. В передней на подзеркальнике спал жирный кот.

Оскар лежал на письменном столе в вицмундире, с новеньким орденом на груди. Лицо у него пожелтело, лишилось той нервности, что делала его привлекательным при жизни. Горели три свечи. Я взглянул на их желтые язычки и вспомнил почему-то вокзалы поздней ночью, когда пассажиры спят на темных скамьях и диванах, а за широкими окнами наливаются сизая холодная заря.

Сташевский, бледный, с перекошенным лицом, долго смотрел на Оскара, и брезгливая усмешка подергивала его губы.

– Да, брат ты мой, – сказал он медленно. – Не люблю эти сентиментальные таланты. Слякоть!

На стене висели портреты Бетховена, Грига, Моцарта, Баха.

Мы принесли цветы. Белые и упругие, лежали они около рук Оскара, пергаментных и сухих. Только теперь я заметил, какие это были тонкие руки.

Было слышно, как на кухне кто-то выговаривал кухарке. Болела голова, ломило в висках, и хотелось поскорее уйти. Сташевский подошел к окну, перелистал пыльные ноты, посмотрел на портрет Баха на выгоревших обоях. Мы поцеловали Оскара в большой выпуклый лоб и вышли.

Ветер сыпал в глаза пыль, шелуху подсолнухов и сено. Преследовал запах уксуса и сладковатый смрад тления.

– Пакошь, – сказал Сташевский, помолчал и сплюнул. – Какая пакошь!

Хоронили Оскара на следующий день. Все было буднично и бедно. За гробом шла жена в дешевом трауре, черный креп блестел на ее шляпе, как слюда, шел его брат – немец с веселыми глазами, старухи – любительницы похорон, гимназисты и факельщики в брюках с серебряными лампасами, в рыжих чудовищных сапогах. В стороне шли его ученики – Сташевский, Алексей, я и художник Винклер, тоненький, как девушка.

Сухощавый пастор, в элегантном пальто с бархатным воротником, раскрыл молитвенник и прочел по-немецки несколько длинных и скучных молитв. Пасмурное небо сулило дождь.

Битый кирпич стучал о крышку гроба.

Когда могилу засыпали, сразу стало легко.

– Ну что ж, – сказал Сташевский, – стоило жить, чтобы так умереть.

Родные ушли. Винклер написал на сосновом кресте синим карандашом:

Quid aeternis minorem  
Consiliis animum fatigas?

Зачем вечными замыслами ты томишь слишком слабую душу?

Темнело. Город рокотал вдали трамваями, гудками паровозов, грохотом ломовых дрог – прекрасными звуками жизни.

# Жучок

Комнаты, улицы и пустые дворы пахли осенней листвой, и море шумело, как далекая память.

Осенью нам повезло – у Алексея завелись деньги. Мы втроем – Алексей, Сташевский и я – решили пойти в море со знакомым «рыбалкой». Он был черен и худ, как портовый босяк. Звали его Жучок. Баркас его – одномачтовая байда – совсем обветшал, – просмоленный парус весь цветился заплатами.

Жучок жил на Кривой косе. Ехали к нему степью. На бахчах желтыми горами лежали перезревшие тыквы. Белая пыль дымила из-под копыт лошадей, над балками розовело ленивое солнце. Внизу лежало море, прозрачное, как расплавленное стекло.

Хата Жучка стояла на песке. В ней пахло мелом и хлебом. Тихое море шептало за плетеным тыном.

Жучок был бобыль. Поставили погнутый самоварчик. Дым уходил высоко в небо. Мы долго пили крепкий кирпичный чай. Оранжевый вечер дремал над песками. Далеко пели девушки старую песню:

Ой, в Ерусалиме рано зазвонили, —  
Молода дывчина сына спородила.

В хате Жучка, среди бумажных пионов, икон и гравюр неуклюжих кораблей, мы долго обсуждали плаванье.

Решили идти па Малую россыпь, к плавучему маяку – брандвахте.

Жучка мы знали и уважали давно. На косе он слыл за дурачка. За глаза его звали обидным прозвищем «Забродня». Не любили его за молчаливость, за довольство малым, за то, что на «рыскливой» и старой байде он решался выходить на несколько дней в открытое море.

Была давняя вражда между «бережными» рыбаками, осторожными и богатыми, и теми беспутными, «рисковыми», которые выходили ловить на самую «глыбь». Много «рисковых» гибло каждую осень во время ловли белуги. Улов они продавали за гроши грекам-скупщикам и пропивали заработок в дощатых кабаках.

Жучок был рисковкой.

В прошлом году на Илью неожиданно задула трамонта, ветер мчался глубокими порывами, крутил воду и нес полосы черных дождей. Рыбаки стали спешно уходить домой. Шли густо, парус за парусом. Один баркас перевернуло. Все шли своим путем, только Жучок, рискуя потопить свою ветхую байду, как-то извернулся, подошел и подобрал людей. Возвратился он мокрый, посиневший, с трясущимися от холода руками. Развесил сети на тонях и поплелся домой, словно ничего не случилось, словно не спас двоих людей. Старые «бережные» рыбаки, морщинистые, с запечен-

ными от солнца лицами и хитрыми глазами, еще долго говорили по косе:

– Дурной человек, бог его знает. Хоть бы по трешке с них взял.

С утра задула низовка. Море пенилось и шумело в красных берегах. Хлопали темные паруса. День, отлитый из желтого стекла, стоял над бахчами.

Шхуна клюнула осмоленным носом и тяжело пошла в море. Дождь брызг бил в лицо, высоко качались борта, плакали чайки, и громыхала по дну якорная цепь. Казалось, звенело все – и ветер, и чайки, и волны.

Я лежал на носу, на кубрике, вдыхал запах рыбы, шедший от бортов и сетей, и сознание дикой свободы наполняло меня. Я лежал, курил и ждал, когда солнце сядет в волнах и туманах там, далеко, у диких берегов Тавриды. Там – в вечерней мути – седая Керчь, обрывы Киммерии, поросшие чабрецом, одинокие маяки на песчаных побережьях, а дальше – в солнце и дыму – нарядные порты, яркие лица женщин, океанские пароходы, пестрые иностранные флаги, запах богатых земель и преддверье Архипелага.

– Кидай бакан! – закричал Жучок.

Черный флаг бакана замотался на волне. Далеко полетел ржавый якорь на мокрой цепи.

Быстро постукивая деревянными поплавками о полированный борт, бежала в воду черная сеть. В сером небе горел

зеленый огонь плавучего маяка. Ужинали в трюме. Мы жадно ели слегка зачерствелый белый хлеб. С жареной рыбы капало масло, маслины жгли десны.

Я выглянул за борт, где в черной воде сжимался и разжимался огонь маяка, прислушался и сказал:

– Великая меланхолия моря.

Жучок покрутил головой и засмеялся:

– Чудно!

После ужина Жучок вытащил из каюты пыльный фонарь, зажег и повесил на мачту. Робкий свет мигнул в суровом небе.

Наползали тучи. Вода пошла чернью. Медленно гасли в ней белые зерна звезд. Шхуна дергалась на дребезжащей цепи. На борту ее белела корявая надпись: «Господи, храни в море плавающих».

Среди ночи я проснулся. Не было вокруг ни моря, ни неба, ни шхуны. Глухая тьма качалась над нами, и кровь внятно звенела в ушах. На носу мигал огонек папиросы. Жучок не спал.

Я пробрался к нему, закутался в пальто и лег рядом.

– Сколько времени? – спросил он сиплым голосом.

– Половина второго.

– Через час ломать будем. Как только зачнет сереть.

Мигнул маяк, и шхуна качнулась на черных цепях.

– Недужный я стал, должно к старости, – негромко пожаловался Жучок. – Грудь заложило. Всю ночь не спит-



ся, куришь, свою думку думаешь... Люди про меня брешут – штундист, духобор, Евангелие читает. Евангелие у меня древнейшее. Тут по степу один человек ходил – ни монах, ни странник, – не поймешь, что он такое. Он мне Евангелие продал. Да... Прочел я в нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом; ибо ваше есть царствие божие». А где оно? На море, вот где. Иной раз задумаешься – есть ли оно, царствие небесное, райский край? А как глянешь на море, небо над ним ясное, воздух легкий, – думаешь, есть. А может, есть еще и получше моря. Царствие божие далеко, а бога, брат, не видать... Матрос один на косу воротился из флота, – на бога, говорит, рыбачки, теперь не надейтесь, бог теперь в пенсне, вроде, говорит, как профессор, боится руки об вас замарать.

– Да, – сказал Жучок и сплюнул. – Рассказывают всякое. Брала меня раньше злоба на людей: что они из себя сделали – смотреть страшно. Живу я по-своему. Думок много. Боюсь, до смерти всего не передумаешь. А на людей сердиться – пустое дело, себя только портить.

К полудню сорвался ветер. Маяк закрыло холстом дождя. С плеском и гулом проносились шквалы. Мы натянули рваные клеенчатые плащи. Шли по ветру в соседний порт, – домой пути не было. К полудню шквалы уже неслись сплошными стенами, мы мчались в воздушных коридорах между ними, и тучи легли темным дымом на сизую воду. Мокрый ветер бил в лицо, синие рыбы блестели и прыгали в трюме,

и соль саднила на лопнувших губах. Шхуна тяжело оседала, по корме хлестала жидкая пена.

– К вечеру дойдем, – успокоительно сипел Жучок и вытирал реденькие усы.

Стыли мокрые ноги. В сумерки море и ветер кричали тысячами голосов. Гул стремительных шквалов стал страшен. Мы попали в полосу шторма. Казалось, что солнце погасло навсегда и не вернется на неудобную землю. Ветры точно сорвались с чугунных цепей. Беспомощные, молчаливые и мокрые, мы всматривались набрякшими глазами в ночную тьму, искали огонь маяка – тусклый дотлевающий фитиль, береговой фонарь.

Но его не было, и только ветер мчал мимо нас, взбивая воду, тусклые обрывки тумана. Сотни поездов гудели под небом на невиданных скоростях. Тяжелые струи дождя слепили глаза.

Ветром сорвало кливер. Я полез на бак, поскользнулся на чешуе и разбил руку.

И в ту же минуту ветер обрушил на меня мутный водопад соли, водорослей и тьмы. Меня бросило о палубу, ударило плечом о толстый проволочный борт.

«А-а-а-ах!» – закричал радостно и взволнованно ветер.

Я хотел обругать его, но он воткнул мне в глотку мое ругательство, и я подавился им, как клубком шерсти, – даже заболело горло. Море ходило головами, мылило шхуну пеной.

Я залез в конуру на баке, «каюту», и закурил. Дергало раз-

битое плечо. Зябли мокрые ноги, плохо закрывались опухшие и разъеденные солью веки. Я смотрел сквозь выбитую дверцу назад, на корму. Все так же стоял там Жучок, крепко расставив ноги, с мокрым измученным лицом. Все так же мутью и пенистыми столбами ходила волна, и я знал, что ни одного рыбацкого паруса, ни одной птицы не было в этом одичалом просторе.

– Огонь! – закричал снаружи Алексей.

Через час огонь маяка сверкал, синий и равнодушный, у борта шхуны, и сильно пахло рыбой и влагой. Шторм был позади.

Осень у моря, черная осень, как девушка, вымокшая под дождем, блестела лиловыми глазами. Ветер шуршал по палубе ворохом желтых листьев, и музыка из приморского «поплавка» рассказывала короткую повесть об огнях, зажженных высоко над морем, о дожде, пахнущем винной пробкой, о хохоте женщин, выпивших горячего вина.

Мы трое, взявшись за руки, прокричали «ура» и спрыгнули на берег.

# Сантуринское вино

Мы остановились в дрянной портовой гостинице. В соседнем номере жили цыгане из хора со своими растрепанными женами. Встречаясь с нами, цыганки смотрели зазывающими глазами и бренчали монистами. Иногда они плясали и пели, и тогда казалось, что гостиница рушится от землетрясения под бешеный грохот бубна.

По ночам бывали облавы на проституток. За них вступались пароходные кочегары, спавшие в коридоре. Ругань и гром не стихали до утра.

Мы решили жить в этом городе, пока хватит денег.

Вечером я ждал в греческой кофейне Алексея и Сташевского. Стены кофейни были выкрашены в канареечный цвет, греки играли в кости. На окне сидел белый кот, мылся и презрительно шурил глаза на греков.

Алексей и Сташевский пришли с шумом, зацепили соседний столик и привели с собой серого человека в мятой шляпе.

– Вот он сидит, наш поэт, познакомься.

– Это новый, недавно нашли – бывший ссыльный, эсер. Теперь служит в пароходной конторе. Садись, выпьем!

Они были уже с ним на «ты».

Пышная гречанка с подвязанной щекой принесла две бутылки сантуринского. Эсер Семен Иванович бледно улыб-

нулся, положил мятую шляпу на окно и сел. Кот потрогал шляпу лапой, обиделся и ушел за стойку.

Очевидно продолжая начатое, они сразу же шумно зашпорили.

– Русская литература прошлого века, – закричал Сташевский, – верное средство нажать мигрень! Мямлят о том, что можно сказать в двух словах. Дайте мне Достоевского, я сокращу его на три четверти, выкину воду, и он зацветет по-новому. Что вы мне бормочете про Гончарова. Согласен, может быть, все это очень хорошо, но не могу я его читать, не могу. Нет у него терпкости, не кружит он голову. Сердце молчит, понимаете, сердце не колотится.

– Ну, Максимов, – сказал мне Алексей, – налегай на вино, Сташевский завел волынку на три часа.

– А шуму вокруг них на тысячи рублей! – кричал Сташевский Семену Ивановичу. – И профессорского гладенького шуму, и торжественного, и слезливого, и бахвального. Что Гейне, что Верхарн, что Гюго – соплей перешибем! От нас земляной дух, от нас навоз, Христос, справедливость. Мы покажем человечеству путь к истине. Мы – с колтуном в мозгах, с хулиганами, безграмотные лодыри, мы – мессия! Правда, блеснули два-три. За них я и выпью, за Лермонтова, Баратынского, Пушкина. Их вспомнишь – будто бы солнце взошло над этим болотом. Их убили, облизали, пригладили каждый волосок, подобрали все шерстинки с сюртука и не нарадуются на дорогих покойничков! Только в России были кли-

куши в литературе. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колена». На писателей мы смотрим, как на педагогов. Они нас учат, дурачков, – и на том спасибо. У нас нет людей. У нас нет человека со страстью, смелостью, смехом, простого пленительного человека. Мы все сидим по коробочкам. У нас, видите ли, дорогие товарищи, все эсдеки, эсеры, толстовцы, народники. Все спешат втиснуть себя в ящик с этикеткой и сосать свою принципиальную лапу. Из действительно великих и гневных идей мы выкраиваем свое – великую идею на русский лад и говорим о ней, говорим до тошноты, до того, что самим противно, до подлости. Вот страна грязи, тоски и варваров.

Семен Иванович покраснел.

– Я, собственно, не совсем с вами согласен, хотя, признаться, давно уже отошел от литературы, больше вращался в кругах партийных, и, правду сказать, лучшие люди там редко уживались.

– «Собственно – не признавали, признаться – не уживались», – медленно повторил Стагаевский и яростно посмотрел на Семена Ивановича. – Эх вы, ре-вол-лю-цио-нер! Вам бы в швальне штаны шить!

– Все это самооплевыванье, – вмешался Алексей. – Довольно! Ты мне надоел. Заладил одну пластинку и крутит, крутит, даже в ушах звенит.

– Арестант! – ответил Сташевский и залпом выпил свой стакан.

От сантуринского кружилась голова. Хотелось говорить без умолку. Девушка за соседним столиком пустила к потолку воздушный шар – красный и большой. Дым качался над нами, и дружно хохотали греки. Я встал.

– Вы прекрасны, – сказал я девушке. Ее спутник повернулся ко мне вместе со стулом. – Но вы совсем не знаете, как жить. Сейчас я расскажу вам, одну минуту, вот только налью вина.

– Ура! – крикнул некстати старый грек.

Спутник девушки пожал плечами и отвернулся.

– Довольно философии! – закричал Алексей. – Пей! Залей свои туманные мозги, пока они не разгорелись. Смойся же ты, клюквенный экстракт, чертов революционер! Кто вам сказал, что надо думать? Это совсем не обязательно. Это не продлит вашу жизнь ни на минуту.

Старый грек в котелке и широких брюках подошел к нам и захихикал. Нос у него был кверху широкий, как клюв. Он хлопнул меня по плечу.

– Видал мастику? Видал мастику? – Он завертел перед носом зеленой бутылкой. – Кала мера! Пей!

Маслянистая мастика жгла горло. Ночь шумела ветром и прибоем. Красный воздушный шар сморщился и упал. В углу угрожающе двигали стульями вертлявые юноши в панамах.

– Эй вы, венизелосцы, уймитесь! – крикнул им Алексей, выждал, пока они притихли, и запел:

Наша жизнь коротка,  
Все уносит с собой.  
Наша юность, друзья,  
Пронесется стрелой.

Греки звенели в такт песне пустыми стаканами. Их потные лбы отражали, как тусклые рефлекторы, свет медной лампы. Под самой лампой сидел лысый шкипер, голова его сверкала исполинским бильярдным шаром.

Табачный туман метался по комнате под ударами ветра и рвался, как истлевшая шаль. Мы все качались в такт. Качались лампы, и окна, и акации за ними, и таверна была похожа на каюту старого корабля.

Я встал, подошел к столику, где сидела девушка, и поставил около нее свой стакан:

– Давайте меняться!

Она взглянула на меня с изумлением. Я взял ее стакан и залпом выпил. Ночь ходила размахами, как маятник. Когда маятник падал – коротко и стремительно шумел ветер, когда подымался – занавески на окне улетали на улицу.

Девушка пристально посмотрела мне в глаза. Ее спутник совсем раскис.

– Какой вы глупый и милый, – сказала она; провела кончиками пальцев по моим рукам и сжала ладони. – Ну, успокойтесь, не качайтесь и смотрите прямо на меня. Вот так. Теперь-то вы узнали меня или нет?



– Хатидже! – крикнул я и засмеялся. – Екатерина Владимировна! Пять лет я не видел вас. Откуда?

– Какой вы глупый, – повторила девушка, не выпуская моих рук. – Сейчас я уйду, у меня разболелась голова. Нет, не провожайте. Завтра я буду днем на Приморском бульваре. Приходите, мы вспомним старое.

– Ура! – крикнул теперь уже кстати толстый грек и уронил котелок.

Мы прокричали «ура» – три, четыре, пять раз, и котелок катался кругами по комнате. Хатидже ушла.

– Пью за старого Оскара! – вдруг закричал Сташевский. – За старого пьяницу Оскара.

Меня словно ножом полоснуло по сердцу.

Старый, пьяный Оскар. Ведь он любил нас.

Пили за Оскара, за благополучное возвращение Жучка, за Вилюйскую область, куда был сослан Семен Иванович, за гениального размазню Винклера...

– Максимов, сыпь речь, пусть пиндосы слушают!

По канареечным стенам стекали капли пота, лампа светила в дыму, как полуночное солнце. Я начал.

– Берите жизнь с весельем! – крикнул я и постучал бутылкой о бутылку. – Отдавайте ее с еще большим весельем. Бросайтесь в прекрасные и сомнительные приключения, как в холодную воду. Позор и величие – это одно и то же. Это переживается одинаково. Вы, греки, не нашли золотого руна. Я пью за всех, кто любит искать, но редко находит. Я пью

за мастику, за девушек, за папашу Днестропуло, за кефаль, и, наконец, я пью за человечность, которая сопутствует любящим, и за любовь, рожденную вдохновением.

Греки вскочили, заорали, и сквозь десятки жилистых рук я увидел негодующее лицо хозяйки. Котелок снова начал описывать широкие круги. «Ура, Днестропуло, ура, Днестропуло!» – кричал маленький серый грек и подбрасывал в воздух костяшки домино.

– В чем дело? Провэрыть! – хрипло вопил, выкатив глаза, грузин с серебряным поясом. – Зачем на нас указывает? Провэрыть!

Накрашенная девушка, рыжая, как лиса, обняла меня сзади и поцеловала в щеку.

– Бррраво, Мирка! – задохся толстый грек, хлопнул руками по лоснящимся коленям и завизжал от хохота. – Ни черта не понимаешь, целуешь. Брраво!

Из угла гнусаво и нахально засвистела флейта-пикколо. Играл на ней чахлый и свирепый турок. Танец ввинтился в толпу и заставил всех замолчать.

Ха-ха, хотта, хотта!

Ха-ха, хотта, хотта!

Комната закружилась, столики отлетели к стенам, и кот помчался из-за стойки в окно, приседая и вытянув хвост. Я танцевал с Миркой. Она дышала на меня луком и страстью.

Ее невозможно красные губы ловили жалкие остатки воздуха, рыжие волосы пахли пачулями.

Ха-ха, хотта, хотта!

Ха-ха, хотта, хотта!

Нас вышвырнули в пять часов утра. Желтое мерцание ламп и рассвет сразу же бросили в сон.

– Подстроэно, провэрыть! – кричал на пороге неистовый грузин.

– Плыдем ночевать!

– Плыдем!

В порту били склянки двойным мелодичным ударом: там-там... там-там...

Черт его знает, может, и вправду все было подстроено. Но хорошо!

# Незнакомый город

Я открыл окно. В комнату ударил ветер. Внизу лежал незнакомый город. Солнце высоко стояло над крышами. После шторма земля пахла особенно крепко.

Я вытащил из-под графина расписание паровозных рейсов – лист желтой глянцевой бумаги – и написал на обороте:

«Быть бродягой, подбирать все, что попадется на дороге, – туман, лица людей с морщинами страданий и болезней, стихи, никем не читаемые, – и думать об этом с наслаждением, находить образы, непривычные, как во сне, и начать вторую жизнь вот на этих листах бумаги. Создать свой мир – необычный и чуждый всему окружающему, царапающемуся, жалкому и смешно неразумному. „Склонись к зеркалу души своей, и ты испытаешь наслаждение. Душа твоя, окрыленная любовью, смирится и вознесется к далеким вершинам, где правда светящимися руками сорвет покрывало с твоего разума“.

Я могу думать об этом персидском изречении часами, находя в нем все новую глубину.

Я помногу думаю о случайном. Вот маленький эскиз маслом. Он лежит у меня в бумажнике. Внизу черная надпись: «Гогену – Винклер».

Гоген.

Я начинаю думать о жизни этого человека.

Мать Гогена была испанка с синими волосами – правнучка флибустьера, умершего от жажды в мексиканской пустыне. Звон медных лат, вино и золото – легендарное, чудовищное золото и сифилис перечеркнули прошлое ее католической семьи. Она отдала сына в иезуитскую школу. Он изучал латынь и гимны, знакомился с непорочным зачатием и перевоплощением крови Христовой в бургундское вино. В сухощавых патерах, в их сутанах, пахнущих ладаном и духами, было нечто от его жестоких предков. Аббаты были конквистадорами великой империи святого Петра.

Из школы он вышел атеистом. Одно время он был моряком. Невнятным голосом предков звали его безграничные пространства. Красные полотна тропических вечеров, их грубая и пышная позолота, дыхание невыдуманной экзотики, как трещина в стекле, прошли через его память. Разве легко носить всю жизнь тоску о почти призрачном, дальнем и жажду выразить все это в новых красках.

Гоген принадлежал первобытным странам – этот парижанин с кофейным загаром и желтыми белками беспокойных глаз.

Все чересчур обыденное – службу в банке, куда он перешел с корабля, семью, маленький дом с зелеными жалюзи в тихом квартале Парижа, воскресные прогулки по реке, – все это он внезапно и легко променял на жизнь нищего художника. Грязная наволочка, небритые щеки, расклейка афиш на бульварах и первые, еще темные картины. Таково начало

карьеры.

Он ненавидел бога и культуру. В ней было нечто плоское и неживое. Жить в городе и не знать даже карты звездного неба – это уж слишком! Так он сказал перед бегством из Парижа. Он бежал на острова Таити, к Великому океану, – он, созданный для великого. Бежал и был смертельно и навсегда ранен этими широтами.

Солнце растапливало краски на его картинах. Сок красок, блестящий и радостный цвет, лился с холстов. Черная синева, песок, коричневый, как тело ребенка, девушки с острыми сосками, тяжелые стены прибоев. Золото в лимонах, в мозаиках, в вечерах и на бедрах женщин.

Он писал, и лихорадка трясла его за руку. Он остановился, взглянул на свои холсты, на эти гигантские перья птиц, и впервые поверил в библейскую повесть о днях творения. Молчаливый невиданный мир, перегруженный густыми мазками, жадно смотрел на него, на его слишком слабое для гения тело.

Он умер, и девушка-таитянка – его жена – закрыла ему волосами глаза. Был период ветров, белые облака неслись над островами. Казалось, что Гоген только уснул.

Дикари плакали. Умер прекрасный белый, с таким гневом защищавший их жизнь, их залитый зарею остров от другого белого – в круглых очках, с его политическими системами, абортами, водкой и бухгалтерией.

Перед смертью Гоген испугался нашествия людей с Запа-

да. Они ползли приветливо и спокойно, перебирая в кармане серьги и бусы. Вождеделение сочилось из них трипперным ядом, девушки стали закрывать дешевеньким ситцем оранжевые груди, и на островах, где молились раковине и морской воде, затрещали ремингтоны. На свою вторую родину Гоген не хотел пускать ни одного европейца. Он объявил неравную войну Европе. И этого бунтаря, богохульника, пинавшего ногой распятые, хоронили аббаты со всей гнусавой пышностью католических обрядов, признав его верным сыном церкви.

Так окончил Гоген – человек с хмурыми глазами и грудью матроса, с руками, пахнущими смолой и красками, и душой ребенка, измученного вечными думами о возрождении детства человечества.

В теплых, затянутых бледными коврами залах шукинско-го особняка в Москве я видел его полотна. Я видел подпись: Paul Gauguin.

Я помню его автопортрет. Спокойно и сурово глядели глаза, блестящие и темные, на угловатом лице. А за окнами шел мягкий и тихий московский снег, ложился на ветки и карнизы церквей.

Полузабытые гении, поднявшиеся до грани сверхчеловеческого, цельные в своей непоследовательности, необычные, капризные, как дети. Я люблю вспоминать о них, перебирать их имена. Думы о них трогательны, как молитвы.

Я вспоминаю многих скитальцев, поэтов. Нищета, чашка

жидкого кофе, радость величайших достижений и неуголимая тоска, от которой у менее сильных ржавеет сердце. Их удел – плевки в глаза и странные книги, волнующие одиноких людей.

Каждый хранит в себе возможность быть гениальным. Но тяжел путь. Я хорошо знаю дрожь души. Она приходит неожиданно, то в оживленном разговоре, то во время ночной задумчивости или в тихом утре заспанного порта. Тогда я боюсь судьбы этих людей.



## Хатидже

В конце сада молоком было налито море. Падали листья. В сумерки в сером небе зашипели калильные фонари и скромные огни зажглись на пароходах. Вечер был сизый, печальный и очень сырой.

Я ждал в саду Хатидже. Я знал ее еще девочкой. Было это на севере, в городке над Окой, где мороз скрипел под ногами, как новая кожа. Оранжевое солнце лежало на воцеленных полях, потрескивали фитили ламп, на солнечных полосах спали кошки, и на катке смеялась Хатидже. Щеки ее пылали. Она была гимназисткой шестого класса, я был в седьмом. Я приехал на каникулы к бабушке. У меня на руке был вытатуирован якорь, и я много врал о пароходах, моряках и Александрии. И вот вчера в ресторане – эта странная встреча. Я узнал под вуалью ее глаза, узнал смех и голос.

А теперь? У меня в кармане осталось три рубля. Алексей сидит в участке за буйство. Сташевский пишет в засаленном номере неизвестно для кого монографию о гениальности и фанатизме. У него стиль Пшибышевского. Недавно он написал очерк об Артуре Рембо. О Рембо там не было ни слова. Он писал о слоновой болезни, о преимуществах американских винчестеров, простреливающих Библию с десяти шагов, восхвалял авантюризм и нагло утверждал, что в горах Ливана сохранился готический собор, построенный кресто-

носцами, перед которым Notre Dame в Париже – детская игрушка. При чем тут был Рембо – неизвестно.

Хатидже пришла лишь к вечеру. От ее волос шел запах ветра. Мы долго ходили по сырым дорожкам.

– Как я жила? После гимназии я жила в Париже. Родные послали меня учиться в Сорбонну. Что делать дальше – не знаю. Вчера в кофейне вы обещали меня научить, как жить.

Она засмеялась.

– Я здесь гощу у родных. Буду много читать, переводить Франса и ходить к морю. В общем, хорошо, что я вас встретила.

Она помолчала.

– Мать у меня недавно умерла, – сказала она спокойно. – Помните сад около собора и каток? Вы рассказывали замечательные вещи. В Париже я встретила одного эмигранта, серба. У него были ваши глаза и нос. Я бывала в том кафе, где он сидел по вечерам, и думала о вас, о забывшем меня Максимове. Когда вы уехали, началась оттепель, дороги развезло, от лошадей шел пар, а я все думала о вас и о море. С кем вы тогда приезжали?

– Со Сташевским и Алексеем. Они сейчас здесь.

– А помните, как мы катались на розвальнях? Сташевский бежал за санями и перекидывал их от одного тротуара к другому, – он ведь очень сильный.

– Это не он, это Алексей.

– Помните, перед вашим отъездом мы сидели в саду над

рекой, с веток падал снег, и мы грели друг другу руки.

– Почему вас зовут татаркой?

– Бабушка у меня из Бахчисарая. Я росла среди татар. Моих приятелей звали Амет, Айше и Усейн. Амет мне и теперь еще присылает письма на листах магнолии. Все они звали меня Хатидже – моим именем по-татарски. Это за мной и осталось, хоть я и русская и волосы у меня как солома.

Она усмехнулась и заговорила обо мне.

– Я встречала потом очень много людей. У всех мужчин есть какой-то угол. Ударисься об него, станет больно. У вас этого нет. Вы другой. Каждый чувствует это в вас. Люди редко смотрят. Они или уставятся, или скользят, а вы смотрите просто и спокойно, будто ищете то, чего не видят другие. У вас был тогда глухой голос и застенчивая улыбка, – вы мало изменились.

– Нет, я стал взрослее, а взрослых я сам не люблю. Я бы много дал, чтобы опять быть мальчишкой, бегать на коньках.

Мы вышли из сада. Сырая ночь спустилась на город. За оградами синим пуншем разгоралось море. Язычки газовых фонарей склонялись к югу. Начинался северный ветер.

– Поздней осенью редко бывают такие вечера, – тихо сказала Хатидже.

Наши шаги отдавались среди каменных оград.

– Что это за странный свет?

Я видел в ночном блеске ее глаза.

– Это, должно быть, зодиакальный свет, Хатидже.

Свет поднялся низким куполом над морем, он то разгорался, то потухал, и море то покрывалось приглушенным блеском, то уходило в черноту, в туман.

– Вы знаете, когда зодиакальный свет был виден в последний раз?

– Когда, Максимов?

– В ту ночь, когда Данте встретил Беатриче.

– Какой вы выдумщик.

Она засмеялась и взяла меня за руку. Сквозь перчатку я чувствовал теплоту ее пальцев. Мы шли по чугунному мосту. Он легко лежал над щелями портовых спусков. Веретена огней убегали к черной воде. О такой ночи писал Уистлер, о камне мостов, потерявшем весомость, о воде заливов и небе, прозрачном, как вода. Звезды дрожат и преломляются в этих холодных небесных водах.

– Хорошо, – сказал я Хатидже. – Сырая ночь, милая земля и вы – такая далекая и такая родная. Как все это странно.

Я говорил еще много, мне казалось, что это говорю не я, теперешний, а тот, другой во мне, по которому я тосковал все эти годы. Словно я ждал прихода этой ночи, стелющей над городом свои млечные покровы из сверкающей манны.

Мы прошли краем порта. Синий свет отражался на отмелях. Сонно плескала вода.

Когда мы прощались у белого маленького дома, расплавленное море в упор смотрело в глаза. Среди ветвей сверкала голубая Вега.

## Уличный скрипач

Приехал Винклер. Он привез с собой деньги и пренебрежение к нашему плаванию. Он был молчаливее, чем всегда. Мы обрадовались и решили остаться еще на неделю. В первый же день Винклер поссорился со Сташевским.

– Если бы я был художником, – сказал за чаем Сташевский, – я написал бы изумительные вещи, не то что ты. Например, желтую пароходную трубу, черное небо, и больше ни черта! Не правда ли, эффектно? А ты решаешь какие-то световые задачи. Ну, да черт с тобой! Пиши, брат, трудись. Выдумывай новое, настоящее мне уже надоело.

– Ты чудак и слеп, как щенок. Слепому тоже надоела темнота. Постоянно возишься со своим петушиным «я». Все ему надоело. Лорд Байрон из Сквиры. Сам ты надоел себе, а не земля и небо. Тебе надо проветрить мозги.

– Вы это о чем? – спросил Алексей. – Сошлись тут поэты, бальмонты. Винклеру обязательно надо добраться до сути – почему надоело, кому надоело, когда надоело...

В соседнем помере заиграл старый арфист. Гулко и торжественно лилась по коридору неаполитанская песня.

– Итальянец играет, – сказал Алексей и подмигнул. – Чудак старик. Всем кланяется, за номер не платит, на свадьбах играет на арфе и на скрипке. Чем только жив человек?

Старческая тоска по *bella Italia* подымалась к чердакам,

где жены матросов переставали стирать белье, разгибали спины и отирали пот скользкими мыльными руками. Тоска по солнечным дворикам и шумному говору, может быть, великая, как Рим, тоска по теплому мрамору и освежающим фонтанам. Старик тряс головой. Он никому не делал зла, перед всеми он снимал зеленую фетровую шляпу. Ему было очень горько в чужой стране.

– Тащи его сюда, Алексей, – сказал Сташевский. – Купи водки и тащи.

Старик пришел со скрипкой. Лак ее был темен. Солнце тихо сверкало на золотистом грифе. Старик тер ладонью проволочную щетину на щеках и был в меру торжествен и в меру печален. Он сел спиной к свету и выпил рюмку водки. Бахрома свисала с его синих, толстых, как кожа, брюк, и красный шарф был замотан вокруг сизой шеи.

– Моцарт? – спросил старик сорвавшимся голосом и взял скрипку. – Моцарт?

Я кивнул головой.

Мелодия Моцарта тонка, как говор старой Вены. Язычки свечей дрожат на красных клавикордах. Как шепот около исповедален, внезапно затихают струны. Торжественные напевы, глаза венецианских мадонн, осенние огни в воде каналов – обо всем этом, старом, как прабабушкины кружева, рассказывала скрипка.

«А мы? – подумал я. – Мы забыли дружескую моцартовскую жизнь. Где Бах? Где Гайдн? Наши глаза выцветают в

невеселом труде. Наш удел – нищета и бесцельное шатание среди людей. Наши лучшие минуты приходят тогда, когда мы плачем о прекрасных днях, прошедших мимо».

Я бросил папиросу за окно.

«А если и у меня в жизни ничего не останется, кроме этих слез?»

Старик замолчал. Я налил ему еще водки. Сухие руки его тряслись, он расплескал рюмку.

– Эх, – сказал Сташевский. – Старика бы Оскара сюда. Ведь это о нем играли.

Итальянец опять заиграл какой-то скачущий танец. Если есть веселье в желчном блеске белков, веселье пьяных тряпичников, беззубых нищих и шарманщиков с искусственной гортанью, то оно гремело в этой пляске. Даже цыганки стихли, прислушались и потом сорвались бешеным треском бубнов:

Эх, раз, еще раз,  
Еще много, много раз!

## Пароходные дымы

Сквозь стекла сочится мокрое утро. Звон церковей дребезжит над крышами. Мелкий дождь сыплется через исполинское небесное сито.

Со времени встречи с Хатидже случилось много нового. Алексей и Винклер уехали. Я остался один со Сташевским. Он заболел. Как-то утром он взял шляпку около агентства и поехал в море один. Возвратился домой промокший, раздраженный, с нехорошим румянцем и воспаленными глазами. Врач нашел воспаление легких.

Мы перенесли его из прежнего номера в комнату наверху, тихую и солнечную. За окнами лежала площадь с голыми акациями. Высокими струями поднимались к небу редкие пароходные дымы. Я спал на полу. По утрам бывало холодно.

Арфиста мы прозвали Гарибальди. Я ходил с ним обедать, изредка заходил к Хатидже.

В городе уже устоялась зимняя тишина. Порт был пуст, и я был рад этому – ничто не мешало одиночеству. В трактирах это одиночество было особенно легким – среди красных обоев, пара, белых чайников, гула зеленого утра за дверью. Иногда в воздухе кружился снег. Пахло сосной и мокрыми палубами.

Я писал. Но об этом после. Я, кажется, полюбил Хатидже.



Я боялся сказать это самому себе, – ведь невозможно полюбить меня, пустого бездельника, мальчишку. Я знал, что пленительное несчастье подкрадывалось ко мне, и радость слонялась со мной по ветреным улицам.

Как она пришла – любовь, над которой я привык смеяться?

Как-то все смешалось: пустые сады, солнце над морем, синяя вода, красные кузова шхун, радость дышать соленым туманом, и над всем этим – крепнущая любовь к Хатидже.

Каждый день, каждое слово, поворот головы и движения были новыми и уверенными. Был смысл, и была цель в жизни. Волновало сознание, что впереди ждут новые встречи и штормы. Жить бы так без конца!

Был я со своей любовью, были резкие смеющиеся губы Хатидже, Гарибальди – трактирный Моцарт – и худой, как мальчишка, Сташевский.

Город спал в пасмурном небе, в коротком солнце, в запахе рыбы. Загорались и потухали огни, звучали по тротуарам наши шаги, и в церквах звонили так осторожно, будто слепой перебирал четки.

# Города из листьев каштана

Тогда я много писал. Писал обо всем, что приходило в голову.

...Я сидел на бульваре и смотрел, как играла девочка. Со всем «капельная», как говорит Алексей. Она посапывала и собирала гладкие морские камни. Из них она складывала дома, строила город, из сухих листьев каштана были сделаны площади, из раковин – дворцы. Девочка громко дышала от волнения и разговаривала сама с собой. В домах жили люди. Они ходили по извилистым улицам, их иногда перебрасывало ветром с одной площади на другую, и это было очень смешно: тогда девочка хлопала в ладоши и смеялась.

Потом пришел, прихрамывая, Жулик. Он был серый, как пакля. На носу у него волосы были расчесаны пробором, язык небрежно свисал. Он пришел, обнюхал дворцы, сел на площадь и раздавил людей.

– Куда ты сел, Жулик? – закричала девочка.

Жулик замотал нечесаным хвостом, и люди с домами полетели по воздуху. Город был разрушен до основания. Девочка рассердилась и ударила Жулика. Он встал, забрался под скамейку и сел спиной к девочке.

Девочка долго стояла, растопырив руки, смотрела испуганными глазами на опущенные уши Жулика и вдруг заплакала. Она схватила Жулика на руки и поцеловала в мокрый

нос. Жулик взвизгнул, вырвался и долго носился по клумбам, хрипло лая на воробьев. Опустился туман, и гудки пароходов дрожали, как военные трубы.

Я не потерял еще способности верить в города из каштановых листьев, дворцы из ракушек и плакать вместе с женщиной, незаслуженно обиженной шестимесячным крысоловом.

Я полюбил этих маленьких людей с их слезами о глупом Жулике. Я *хотел бы многому научиться* у них.

Я сидел с Гарибальди в трактире. Было рано и пусто. За стойкой сердитый хозяин читал газету. Пришел разносчик-итальянец. Он таскал в ящике со стеклянной крышкой фальшивые камни, камни из лавы, раковины и кораллы.

Я купил у него раковину за сорок копеек. Она была покрыта твердой розовой пеной. Гарибальди приложил ее к уху.

– Мер<sup>1</sup>, – сказал он и улыбнулся. Даже небритая его щетина засветилась.

Я тоже послушал. В раковине шумел отдаленный прибор.

– Ее взяли из моря, – объяснил Гарибальди. – Она сучает по морю и все шумит, как волна.

Мы долго курили и думали. Я думал о раковине. Человека тоже взяли от иной жизни и поселили в этом сером чистилище. Каждый томится по своему морю, которое помнит сердце. Я часто прислушиваюсь к себе, и, когда кругом очень

---

<sup>1</sup> Море (прим. автора)

тихо, я слышу – неясным пением подымается тоска.

## Апельсинная корка

Чаще всего я писал по ночам. Я зажигал свечу, закрывал ее толстой книгой и писал, прислушиваясь к ночным шумам. Часы внизу хрипло били два, потом три. Я слушал тишину, шорох мышей, иногда засыпал за столом и просыпался от протяжного крика парохода. Сквозь дремоту я думал: это – «Неожиданный», или «Батум», или «Афродита» – и засыпал снова. Иногда я подходил к окну и смотрел вниз. Было видно, как поворачивали и уплывали огни – уходил пароход. Огни прыгали в смоляной воде, ветер хлопал черными флагами.

Часто я не мог уснуть до рассвета, думая о Хатидже. Я видел ее на улицах, среди садов и оград, освещенных заходящим солнцем. Пахло грозой и степными цветами. Ложился я поздно, – крепкий, родниковый сон был легок.

Мы живем, как живут тысячи, – в кругу обедов, болезней, службы, смертей и чада. Мы боимся ярких слов. Пафос пугает нас больше, чем револьверный выстрел. Но иногда в этот привычный мир входит тоска и раскалывает сердце. Тогда я думаю о белых ночах – не затасканных вдоль и поперек ночах Петербурга, а об иных, совсем особенных ночах, когда огни полощутся столбами в широких и туманных заливах. Они должны быть, эти ночи, когда в белом молоке едва видны зеленые звезды, сырые паруса обвисают на мачтах, губы

женщин становятся влажными, а гавани и города погружаются в великое безмолвие, одеваются в серебряную седую печаль.

Я не люблю писать об этом, потому что это вызывает громкий смех или усмешку упитанных, довольных своей карьерой людей, потому что слишком многие не знают настоящей печали.

Недавно Сташевский сказал мне:

– Ты весь в своем, в выдуманном. Увидишь апельсинную корку – и уже думаешь о небе цвета этой корки, которого никогда не увидишь. Чудак!

Хатидже сказала мне вчера:

– Вы совсем мальчик. Все вас тянет куда-то, в Америку, в Египет, на Новую Землю.

Я ответил нескладно:

– Странствия – лучшее занятие в мире. Когда бродишь – растешь, растешь стремительно, и все, что видел, откладывается даже на внешности. Людей, которые много ездили, я узнаю сразу из тысячи. Скитания очищают, переплетают встречи, века, книги и любовь. Они роднят нас с небом. Если мы получили еще недоказанное счастье родиться, то надо хотя бы увидеть землю.

Горячий песок чужих берегов оставляет глубокие следы на ладонях, теплые волны смывают вязкую слизь повседневной жизни. Своя тоска у каждого дня. Вот сегодня я хочу увидеть серые дни в Балтике, когда занавесью лежит туман

по хвойным берегам и в море выходят рыбачьи барки с красной полосой, нашитой на парус. В прибрежных лесах растет по полянам вереск, и сырые дымы больших кораблей идут к песчаным берегам Дании – родине Ола Гансона.

Может быть, этого нет, но я увижу все это, потому что уже давно я стремлюсь замечать скрытое и создавать задуманное.

# Свечи и лампы

Керосин, электричество и ацетилен, – писал я как-то ночью, – изгнали свечи восемнадцатого века. Когда глаза жжет свет, когда электрические лампы надоедают, как хроническая болезнь, начинаешь тосковать по свечам и запаху воска.

Тесные венецианские часовни, запах каналов, напевы Чимарозо и чугунные фонари над стертymi порогами – это век свечей.

Тронутые воздушными красками, словно напудренные голубой пудрой наивные плафоны Ватто, серебряный блеск тяжелых подсвечников в Сан-Суси, красноватый отблеск люстр в окнах Версаля, когда у чугунных решеток стоят вычурные кареты и дождь сечет косыми струями плащи лакеев, пышные магические иллюминации восемнадцатого века, сальные огарки в притонах Марселя, где к палубам линейных кораблей привинчены медные пушки и матросы заматывают шеи клетчатymi шарфами, – все это насыщено неярким светом восковых свечей.

Свет ламп и свечей заливает страницы книг наших писателей и поэтов.

Мопассан писал при свете красного абажура, густом, как кровь и страсть, писал в те часы, когда его уже подстергало безумие.

Верлен писал в кафе при жалком свете газовых рожков, на



обороте залитых кофе счетов, и из его как будто бы наивных стихов сочится ядовитый светильный газ.

Бодлер знал только черный колпак над лампой. Колпак просвечивал коричневым светом, как желчь. Опухшее лицо луны вызывало брезгливость. Париж дышал сточными трубами, и путаница символов рождала тоску по скромному закату в деревне, в резеде, в полях. Кружились легкие вальсы, но плясали их не девушки в шляпах с длинными лентами, а старухи в грязных полосатых чулках.

Чехов писал за простым письменным столом, светила лампа с зеленым абажуром, пальцы его холодели от спокойной жалости к людям. Мохнатые зимы, бубенцы, смешная нелепость старой России и – как стон скрытой тоски – песни цыганок у Яра – «Не вечерняя заря...»

Достоевский писал при кухонной лампочке с треснутым стеклом, прикрытым листом обгорелой газеты. Смердные ночи, безденежье, жестокие женщины, загнившая человеческая душа рождали петербургскую истеричную тоску.

Артур Рембо любил писать в тесной каюте при краденой свече на полях книги со скабресными стихами. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре.

Уайльд любил сверкающие лампы и камин, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице, в туманный и весенний лондонский день.

Келлерман писал за грубо сколоченным деревянным сто-

лом при свете очага в рыбацкой хибарке, когда тихо шипела на жаровне рыба, мерцал за окном маяк и гремел океан.

Роса и пчелы Метерлинка в утреннем блеске каналов, сотни торговых флагов во мгле и закатах антверпенского порта – в стихах Верхарна.

Осеннее солнце Булонского леса в дни великой революции, когда женщины носили кольца с профилем Марата, пышное солнце на страницах Анатоля Франса.

## Праздничная тишина

Я проснулся среди ночи. Было слышно, как тяжело ворочалось море. Сташевский бредил.

– Максимов, зачем он стягивает одеяло? – испуганно позвал он. – Пускай уйдет этот горбатый.

Я укрыл его своим пальто. Дыхание у него было прерывистое. Лицо горело красными пятнами, глаза сухо блестели.

– Жарко! – крикнул он, сел на постели и сбросил одеяло. – Открой окна, Максимов. Слышишь, открой!

Я пошел к Гарибальди и разбудил его. Он долго кряхтел, искал в темноте ботинки и что-то шептал по-итальянски.

– Мама! – вдруг громко позвал Сташевский. – Максимов! – вскрикнул он упавшим голосом и заплакал. – Не уходи, слышишь, не уходи. Сядь здесь, зажги лампу. Темно, трудно дышать.

Худая грудь его и руки были бледны и прозрачны. Я осторожно уложил его, снова пригладил спутанные волосы. Гарибальди влез на стул и зажег настенную лампу.

Сташевский стих, глядя на меня широко и горестно, и крупные слезы расплзались по подушке серыми пятнами.

– Ты не уйдешь?

– Я пойду за доктором. Гарибальди посидит с тобой.

– Ну ладно. Скверно мне, – хрипло и трудно прошептал он и закрыл глаза.

Редкие капли дождя ударяли о стекла. Глухо ворочалось море.

– Пить!

Старик подал ему стакан. Он пил торопливо, разливая воду по груди и по простыне. Снова начался бред.

– Уберите горбатого! – опять вскрикнул он и протянул руку.

Гарибальди растерянно взглянул на меня.

Я оделся и вышел. Блестящие от дождя улицы были пустынные. Ветер ровно дул вдоль них, стряхивая с деревьев тяжелые капли. Во дворах пели петухи, накликаая дождь.

Когда я нашел доктора, уже светало. Грязный свет нехотя сползал с рыхлых туч и, потягиваясь, брел по мокрому городу. Ветки акаций стали чернее, полил дождь. Воздух был наполнен монотонным плеском.

Доктор был заспанный, седой. С его бороды падали на пальто крупные капли дождя. Он быстро шел и ворчал, – нигде не было извозчика.

Когда мы пришли, Сташевский лежал тихо, в крупном поту. Я вошел, и сонная теплота и сухость комнаты жаром ударили в голову. Я сидел на стуле и спал наяву, пока доктор грелся у круглой железной печки. Потом он осмотрел Сташевского.

– Прекрасно, – сказал он и посмотрел на меня с укором. – Был кризис, теперь все прошло. Начинается поправка.

Он закурил и сел к столу писать рецепт. Писал он долго,

что-то думал, глядя на стену, спросил, сколько Сташевскому лет.

– Двадцать четыре года.

– Да. Молод. Ну что же, это хорошо.

– Который час? – спросил Сташевский. – Когда ни проснешься, всегда горит лампа и никогда нет солнца.

– Скоро пять. Спи.

Зеленоватый сок утра волнами хлороформа вливался в комнату, сон бродил по ней, лампа гасла, и у меня тяжело слипались глаза. Как песня великана, пела за окном сирена. Доктор ушел.

Гарибальди взял меня за локоть.

– Что говорил синьор? Как?

– Все хорошо, Гарибальди.

– О-о, все хорошо, – повторил он, отвернулся, вытащил из кармана черный дырявый платок и ушел в коридор. Голова его тряслась.

Сташевский уснул. Я хотел пойти за Гарибальди, но сон связал меня. Я лег на пол, и высокие волны подняли меня к потолку, где напевал сверчок.

Проснулся я поздно. Солнце било в окна, небо было по-зимнему чисто, и торжественно гремел гарибальдийский гимн.

Старик играл. Сташевский устало улыбался.

## Evviva Garibaldi!<sup>2</sup>

С утра в городе тихо, а в порту пусто, как вымело. Солнце бродит высоко в небе. Сегодня праздник. Бледные столбы пыли стоят в нашей комнате. Я читаю Сташевскому Коран. Он пахнет высохшими цветами, на колени сыплется легкая книжная пыль.

Сташевский лежит, закрыв глаза, потом спрашивает:

– Ты давно видел Хатидже?

– Вчера.

Он снова замолкает. После болезни он может часами слушать шум дождя, мяуканье сирен, гудки паровозов, смотреть за окно, где не спеша проползает туман или страшно высоко стоит облако, залитое теплым светом.

– Хорошо! – говорит он и вздыхает. – Боже мой, как хорошо!

Иногда он просит:

– Максимов, расскажи, что на улице.

Я рассказываю обо всем, что вижу за окнами, но пестрые мысли скачут в моей голове, и люди преображаются в персонажей из сказок. Коробки с сапожной мазью у чистильщиков становятся исполинскими и яркими. Мальчишки-папиросники воскрешают перебранки на улицах греческих городков, а при взгляде на сизых торговков зеленью я вспоминаю рас-

---

<sup>2</sup> Да здравствует Гарибальди! (*итал.*)

сказы Мопассана.

# Любовь

Сташевский засыпает, и я уйду. Я спускаюсь по портовыми спускам, где на стенах зеленеет сырость. Ребристые цинковые склады становятся теплыми от солнца. Тонкий лед примерзает к бортам пароходов, и матросы курят на палубе и насвистывают песни.

Я жду – может быть, встречу Хатидже. Робость сковывает мою волю, я жду случайной встречи. Несколько дней я ее не видел. Несколько дней на душе саднит, как тонкая трещина, боль о том, что вот уходит время, просторные дни сменяются, как перевернутые страницы, и я не вижу Хатидже.

Я прохожу по переулкам около ее дома. Лед хрустит под ногами. Мороз крупной солью лежит в пустых водоемах. На подмерзшей земле я ищу узкие следы ее ног. Она видела эти зеленые ставни, черные деревья, ограды холодных садов. Я тихо касаюсь рукой их шершавых камней.

Проходят девушки, но нет ни одной, равной ей.

Скептики! В те дни я много думал о любви. Млеют городские барышни. Петушатся мужчины. Лунные ночи делают свое дело, и жирный свадебный обед освещает любовь. Жених моет потные ноги, невеста пудрит подмышки. Похоть, похожая на обжорство, на храп и на привычку по утрам очищать желудок, вступает в свои права. Розовый лимонад мутнеет. В нем плавают мухи, и первый ребенок – последыш



случайной любви – пускает в этот лимонад свои вязкие слюны.

В одно обыденное утро жена замечает желтые подтяжки мужа, куриную синеву его ног, дурной запах изо рта, смешанный с запахом одеколона, а муж видит нездоровые и мятые груди жены, космы волос, слышит ее плачущий голос. Начинается надоедливый до зевоты конец.

Тогда тяжесть жизни, лишенной иллюзии, вызывает в самом потайном уголке души первую человеческую боль о том, чего не было, но что должно было быть.

Эта мысль приходит всегда, когда уже поздно и возможности к иному захлопнуты.

Еще гимназистом я ездил с отцом в Карачай, и мы поднялись на склоны Эльбруса. Над альпийскими пастбищами разгоралось утро. Была роса, резкая прозрачность, я вспомнил тогда одиночество Пушкина в этих местах:

Мне грустно и легко: печаль моя светла;  
Печаль моя полна тобою...

С ледниковых полой тянуло льдом и слабым запахом фиалок. Дали были открыты на сотни верст. Долины лежали внизу, как позеленевшие бронзовые чаши, налитые синей водой. В великой горной тишине стояло жаркое и близкое солнце.

Теперь второй раз я испытал это чувство – будто ветер выдул из меня старую душу, и вместо нее – горное солнце и

воздух ледниковых полей.

Ветер приносит слабый запах фиалок, как в то далекое утро.

Любовь – как горные перевалы: видно на сотни верст. Не каждому дано дойти и погрузить свои руки в холодные и чистые ручьи Эльбруса.

Я не могу передать боль и радость этой любви, когда ждешь неизбежных потрясений, когда утро гремит сотнями корабельных гудков и исполинское солнце пролетает над зимними днями. Я опускаю глаза, чтобы встречные женщины не подумали, что я люблю их всех.

Любовь созрела и цветет, и зеленые морские дни – как дни из сказок.

Я боюсь возвращаться в гостиницу, – Сташевский посмотрит и обо всем догадается. Я не уеду отсюда. Я буду голодать с Гарибальди, проводить ночи в ночлежке и слоняться по улицам, под этим небом дни и ночи. Я смотрю на прохожих глазами, темными от сдержанного восторга. Что со мной, я сам не могу понять, но мне почему-то страшно.

# Цветы

Вот как случилось это маленькое событие.

Гарибальди пришел взволнованный и принес цветы – белые астры и левкой и записку на мое имя. Запахом осени наполнилась комната.

– Откуда это, Гарибальди? – спросил Сташевский.

Гарибальди таинственно рассказал, что он встретил на улице девушку, она спрашивала его о больном. Потом она вошла в магазин «Ницца», купила цветы и сказала, чтобы их поставили в теплую воду около постели больного.

– Хатидже, – сказал Сташевский. – Славная девушка. – И он прикоснулся к цветам.

Я взял маленькую записку.

«Почему вы не приходите, Максимов? Мне нужно спросить вас о многом. Ведь вы еще не скоро уедете?»

Гарибальди снова зашептал:

– Она спросила меня: «Когда можно прийти к вам?» Я сказал: «Синьорина может прийти вечером, я сыграю для нее на скрипке».

– Молодец, старик. Ну и что же?

– «Хорошо», – сказала она, попрощалась и протянула мне свою руку.

И теперь рука у него еще пахнет, так пахнет...

Вечером в нашем номере стало даже уютно.

Гарибальди надел синие брюки Сташевского, почистил рыжие ботинки, поскреб свою табачную щетину и стал похож на старого прожженного боцмана с грязных итальянских буксиров.

Хатидже вошла в номер, тотчас смущенно засмеялась, вытащила из меховой муфты печенье, шоколад и неразрезанный томик стихов.

– Это книжка Блока, – сказала она Сташевскому. – Мне казалось, что вы должны его любить.

Я пошел за Гарибальди.

Когда я проходил мимо свинцового, мутного зеркала, я заметил, что тоже смеюсь, и подумал: «Ей было немного страшно идти сюда, но теперь все прошло».

Гарибальди долго настраивал скрипку, потом вздохнул и пошел со мной.

Когда мы вошли, я заметил, что Хатидже была еще больше взволнована. Голос ее стал низким, грудным, Гарибальди бережно взял ее руку, поцеловал, опустил, как драгоценность, и засмеялся, сморщив свое старое доброе лицо.

Потом он играл старинные галантные мелодии, которые напевала Венеция времен Карло Гольдони и Гоцци. Хатидже была поражена.

– Ведь он – талантливый музыкант, – сказала она Сташевскому. – Чем он живет?

– Играет по дворам, на свадьбах, в портовых тавернах для

иностранных матросов.

Вошел Семен Иванович с бутылкой коньяка, и Гарибальди встретил его бравурным маршем.

Не было рюмок, и мы пили коньяк из чайных стаканов.

Сташевский предложил длинный тост за Блока. Это дало ему повод сделать несколько горьких упреков по нашему с Винклером адресу: «Шалопайи, влюбленные в слова мальчишки, из которых все равно ничего не выйдет. Умеют только издеваться над всем, в том числе и над старшим товарищем».

Заговорили о Париже. Хатидже почему-то вспомнила парижскую осень, когда над мансардами тихо шумят дожди, город отражается в мокром, черном, как сажа, асфальте и по вечерам надо зажигать камин.

– В эти вечера охватывала такая тоска по России! Я боялась, что никогда не вернусь.

Она замолчала, опустила глаза и медленно стала перебирать мои пальцы.

– А теперь, Максимов, спой наш гимн, – попросил Сташевский.

Гарибальди глухо взял отрывистую мелодию:

Нам жизнь от таверны до моря,  
От моря до новых портов.  
Мы любим бессонные зори,  
Мы любим разгул кабаков  
И топим налипшее горе

У залитых водкой столов.

– Что это? – прошептала Хатидже, но струны снова отрывисто захохотали:

Эй, бубны, эй, чертовы скрипки!  
Держитесь, чтоб в трюм не упасть!  
Так волны по осени зыбки,  
Ладони изрезала снасть.  
Ловите любовь и улыбки,  
Приливам и бурям смеясь!

И снова быстрая, ускользающая мелодия взмыла и стихла.

– Что это? – спросила Хатидже и наклонилась ко мне.

– Это наш гимн, – ответил Сташевский, – гимн пяти.

– Как пяти? Четырех.

Гимн пяти. Он принял Хатидже в нашу бродячую банду. Хатидже поняла, покраснела и взглянула на меня умоляющими глазами.

– Сташевский устал, – сказала она и поднялась. – Мы много шумели.

# Большая Медведица

Я пошел проводить Хатидже. В порту били склянки – была полночь. Изредка ветер трепал гроздь звезд.

Мы долго шли молча. Большая Медведица косо висела над степью. На каменных плитах тротуаров стояли лужи дождевой воды. На рынке под белыми низкими сводами горели фонари.

– Максимов, – вдруг громко сказала Хатидже и взяла меня за руку.

– Что, Хатидже?

Ее рука заметно дрожала.

– Ничего. Это так... Это сейчас пройдет.

Остро сверкали огни на мостовой, звезды падали брызгами в ледяные лужи, пахло зимними свежими садами. Я взял ее руку, снял перчатку и долго грел пальцы своим дыханием.

– Максимов, знаете, что спросил меня Сташевский?

– Что, Хатидже?

Она замолчала, остановилась и глухо боролась с чем-то большим и непонятным.

– Он спросил меня, люблю ли я вас.

Голос ее сорвался. В свете звезд я увидел, как побледнело ее лицо.

– Я сказала – да. И даже давно.

Медведица метнулась и упала в море. Звезды припали к

садам и запутались в черных ветвях. Перекрестки шумели ветром. Хатидже вздрагивала и перебирала мои пальцы.

– Я так боялась...

Она подняла вуаль и взглянула в мои глаза.

– Мой мальчик! Как я люблю! Как мне страшно! А теперь идите домой. Я дойду одна. Мне надо побыть одной. Я совсем сошла с ума. Ведь это все правда, – прошептала она и наклонилась ко мне. – Это не снится.

Она засмеялась и поцеловала меня сильно: как юная женщина.

Я шел домой. Я заблудился. Я шел с непокрытой головой, лицо у меня горело, сердце билось жадно и гулко, губы были соленые, будто в крови. Море шумело то справа, то слева. Я прислонялся к мокрым акациям. Земля качалась, и золотой каруселью несло вокруг меня, позванивая и вздрагивая, небо.

– Я пьян! – шептал я и гладил холодные, спутанные волосы. Я долго искал то место, где мы расстались, но не мог найти. Я находил десятки таких мест и терялся. Где-то в переулке я подошел к кадке с дождевой водой и намочил лоб. Стало легче, но тотчас легкий и пьяный туман снова закутал голову.

– Дурак! – говорил я себе и смеялся. – Ты сошел с ума!

На мосту я встретил моряка. Он шел нетвердо и бормотал несвязные песни. Я спросил его, который час. Он отошел и издали крикнул:



– Четыре часа, и проваливай к дьяволу!

Я шел по мосту. Настил дрожал. Ночь подернулась тусклой синевой, стал угадываться залив. Должно быть, светало. Вега пылала ярким огнем, и ватными шарами догорали фонари на молах.

Я остановился на мосту, сжал мокрые перила и позвал в ночь, в ветер и море: «Хатидже!» Запел первый пароходный гудок, охрипший от сна. Я поднял голову, и горький ветер обдул воспаленное лицо.

Я снова заблудился. Что за дьявольщина! Море шумело то справа, то слева. Тот же пьяный моряк шел сзади, спотыкался и кричал:

– Четыре часа – детское время. Выпьем английской горькой, братишка. Я капитан Шевченко с «Трувора», чтоб мне домой не дойти.

Я пошел с ним в ночной трактир и пил английскую водку. Утро шумело за окнами. Порт густо дымил. Приходили корабли из Ливерпуля и уходили в Трапезунд. Радость спала на душе, свернувшись теплым пушистым котенком, горланили матросы, и жизнь звенела, как лед у причалов.

Капитан рассказал много занятных историй, но я их не помню. Запомнилась только замечательная брань, синева и крепчайшая английская водка.

Капитан пел, засыпая:

За юных женщин, прекрасных женщин,

Хотя бы раз любивших нас.

Я пришел домой утром. На душе было чисто, будто я омыл ее водой со снегом.

В комнате было холодно.

Темными лапами висели за окнами ветки акаций.

Внизу на старых часах пробило пять. Пять медленных разбитых ударов.

Тихо кружилась голова.

– Отчего это так хорошо, отчего? – спрашивал я едва слышно. Мне жутко вспомнить все до конца.

Я снова выхожу. Я иду по бульвару. Легкой водяной пылью ложится туман на влажную землю. Листья истлели, их не отличишь от земли. Медленно вырастают тени – это женщины несут на рынок корзины с овощами.

Я закурил. Около спуска ночной сторож попросил папиросу. Спичка загорелась в сыром воздухе мутным оранжевым ореолом. У сторожа было красное мокрое лицо и обвисшие усы.

Я купил коробку папирос у мальчишки в дырявой кацавейке и дал ему золотой. Это были мои последние деньги. Я думал о прекрасных книгах, о тысяче услуг, которые я готов сделать всем, каждому, ради этой поверившей в меня девушки.

«Хатидже», – медленно подумал я и закрыл глаза, уже скованные сном. Я вернулся в номер. Солнце горело на спущен-

ных шторах. Крепкий сон быстро согрел меня. Чем-то громадным было пронизано все это молчаливое утро.

# Винклер

Неожиданно приехал Винклер. Он осунулся, на щеках появились черные впадины. Рассказывал, что Алексей пьянствует и много пишет в газетах.

Днем мы пошли в Приморский сад. Гравий трещал под ногами, наши следы наливались водой.

– Люблю я море, – сказал Винклер, остановившись на берегу. Волны шумели у каменных ступеней, покрывали их пеной и водорослями. – Даже таким люблю, мертвым, свинцовым.

Дождь постукивал по скамейкам, по деревянным перилам террасы. Мокрые воробьи прятались в кустах, черные, изъеденные холодом клумбы блестели от влаги. Мы сели в обветшалой беседке. Сморщенный дикий виноград висел у белых колонн.

– Хандра у меня, – сказал Винклер и посмотрел на море. – Дрянная хандра, будто бы целый месяц я ночевал в кабаках и надыхался блевотиной. Все время сверлит в голове, как штопором. И болит затылок.

Я промолчал.

– Дурацкий ум, – сказал он, раздражаясь, и оборвал черный стебель винограда. – Я смотрю на все и осуждаю, как прокурор. Мне все не нравится. По утрам я встаю и тотчас же наливаюсь ненавистью. Мне скучно. На днях была такая

история. Ты знаешь Федора? Он недавно пришел ко мне – у него заболел мальчик. Если бы ты его видел, этого мальчика. Ему два года, он очень веселый. Голова у него вся в золотом пуху.

– Да, так вот, – сказал Винклер и вздрогнул, как будто ледяная капля попала ему за шиворот. – Да, так вот – третьего дня этот мальчик умер от воспаления легких. В комнате было очень холодно, не было денег на дрова. Он всю ночь дрожал, а утром, когда было уже поздно, Федор прибежал ко мне. Я отдал все деньги, я бросился к Алексею, Алексей пошел в редакцию и обобрал Днестропуло – но было поздно. Мы метались, звали докторов, я даже молился первый раз в жизни. Алексей матерился и проклинал всех и все. Как-то вдруг мы поняли, что этот мальчик дороже всего на свете, что его воробьиная душа выше всего, чем мы жили. Тогда я понял такие простые вещи, как материнство и смерть. Понял, какая бездна печали заложена в этом дурацком человеческом сердце.

Он умер, а я всю ночь просидел в портовом притоне, слушал и смотрел, как матросы мучают женщин. Я был пьян. Я сидел за столом и говорил немке-бандерше о том, как пахнут волосы у маленьких детей. Бандерша позвала парня с простуженной шеей – голова у него была скривлена – и сказала: – Выкинь эту заразу.

Я разбил в кровь прыщеватую рожу парня. Поранил бутылкой бандершу. За меня вступились матросы. Полиция

опоздала. Девушки визжали и цеплялись за руки. Бандерша рвала волосы, как на еврейских похоронах, а мне казалось, что я кому-то обдуманно и жестоко мщу. Дома я развел черную краску и измазал все свои картины. Что это за идиотское занятие вообще – писать картины. Все стало пресным, ничего я не вижу впереди. Потом вот приехал сюда.

Зеленые волны пенились в дожде и брызгали в лицо солевой пылью. Я сказал:

– Нужна большая сила. Она есть у каждого. Я узнал ее недавно. Она все решит.

– Какая сила?

– Простое слово, Винклер. Любовь.

Винклер посмотрел на море зорко и напряженно, будто бы что-то искал. Дождь прошел.

– Да... – сказал он и резко повернулся ко мне. – Да... Ну что ж, посмотрим.

Вечером мы зашли к Хатидже.

Мы сидели втроем на диване и болтали. С Винклера сошла его обычная угрюмость. В столовой тихо стучали часы, на столе у Хатидже лежали французские книги и журналы. Пришел маленький котенок, влез на диван. Я гладил его, Хатидже перебирала мои пальцы, положив руку сверху, смеялась, говорила с Винклером, и глаза ее сияли. Котенок лизал мою ладонь, потом свернулся и замурлыкал. Хатидже задумалась.

Когда мы уходили, Винклер остановился около деревян-

ной калитки и сказал:

– Дай-ка твою руку.

И он крепко пожал ее.

У нас в номере было шумно. За стеной горланили цыгане, пришел Семен Иванович, Гарибальди, и мы пили впятером чай с острой молдаванской брынзой.

# Скандал в литературном кружке

Было это на третий день после того, как Сташевский начал выходить. Хатидже принесла нам билеты на диспут в литературном кружке. Я со Сташевским поехал на извозчике. Сташевский радовался всему: и черному небу, и запаху дождевой воды, и огням на мокром асфальте.

В кружке было душно и тесно. На эстраде у зеленого стола стояли пыльные пальмы. Мы медленно двигались в тесном коридоре.

Винклер все пытался вспомнить стихи Саши Черного:

Если сам я угрюм, как голландская сажа  
(Улыбнись, улыбнись на сравненье мое!)

Сташевский говорил, что Хатидже похожа на портреты Ренуара. Он был прав. После болезни он слегка поглупел.

Щебетали, наклоняясь вперед, девицы в белых и цветных кофточках.

– Курсавки! – свирепо сказал Сташевский. – Не люблю.

Толстые дамы страдали в тесных корсетах и мило кивали. Их мужья потели, мечтая о курилке. В толпу густо были вкраплены гимназистки с невинными глазками и учительницы в синих платьях, будто сделанных из древесной коры. Кто-то скверно и намеренно громко говорил по-француз-



ски. Подымались чванные лорнеты, и девицы под обстрелом уничтожающих взглядов втягивали животы и выбрасывали в сторону носки, мучительно пытаюсь создать стиль изящной женщины из журнала «Пробуждение».

– Нужно признать, – сказал Сташевский, – разнообразное и изысканное общество. Париж в Чухломе.

Худой лектор в длиннополом сюртуке позвонил в колокольчик. На пальцах его поблескивали серебряные перстни с черепами. Звонок вызвал усиленное кашлянье и шелест развернутых программ.

Лектор аккуратно разложил на пюпитре листки из блокнота и начал читать, поглаживая реденькую бородку. Он грассировал, делал плавные жесты, словно плыл по тихой заводи, и ударял серебряными перстнями по пюпитру.

...Всеобъемлющий гений Пушкина. Кто не читал, не восторгался его красотами, его психологической глубиной. Бунт Лермонтова. Мелькали имена: Герцен, Некрасов, Достоевский, Гаршин, Толстой. Они будили общественную совесть, они – яркие представители русской интеллигенции, дети великого народа. Их подвиг – подвиг учительства, пророчества, призыва ко Христу. Такая литература не может не быть дана великому народу.

Лектору похлопали.

– Жеваная резина, – сказал Винклер.

Потом вышел некто изможденный, с черной бородой, и мутным голосом говорил о Христе и антихристе, о наро-

де-богоносце, о мудрости, обитающей в наших сердцах, о душе Достоевского и воплях из подполья.

Снова похлопали.

– Может быть, кто-либо желает высказаться?

– Максимов, устрой скандал. Покрой эту банду, – прошептал Винклер.

Я встал и попросил слова. Лектор сделал снисходительный жест, лорнеты защелкали и выжидательно остановились на мне.

– Мне искренне жаль двух предыдущих докладчиков, – сказал я, поднявшись к столу. – Их попытки выдавить из своих мозгов крупицу мысли заранее обречены на неудачу. Их кропотливая подготовка по Скабичевскому пошла впустую. В лучшем случае милые гимназистки напишут на основе этих речей сочинения на тему о байронизме в произведениях (именно в произведениях) Пушкина или что-нибудь в этом роде... Мы слышали снотворный урок словесности и нестрашные завывания из могилы. Густое, как сироп, облипшее мозги убожество, копеечная культурность, мелкие зубы пошлости, слюняйское сюсюканье – вот содержание этих речей, вполне подходящих к аудитории.

Лысины и лорнеты тревожно задвигались.

– Футурист! – сказал сзади испуганный голос.

– Я не футурист и не думаю увеселять вас руганью. Лектор прав в одном. Надо воскресить у вас память о Пушкине. Надо воскресить память о нем среди вас, как иногда бы-

вает очень полезно напомнить убийце об убитом. Вы, ваши отцы и деды травили Пушкина. Среди вас он захлебывался от скуки, от отвращения, вы его убили рукой Дантеса. Наши писатели – дети великого народа, – кажется, так здесь говорилось. Значит, вы – промотавшиеся отцы, которых проклял Лермонтов. Если вы отцы, то вы заслуживаете плетей и каторги за истязание малолетних.

Что вы позволили сделать со своими детьми? Пушкин убит, Лермонтов убит. Новиков пришел из Сибири пьяным мужиком. Рылеева вешали, он сорвался, и его повесили снова. Гоголь сжег себя и сошел с ума. Труп Полежаева изгрызли крысы. Гаршин бросился в пролет вонючей петербургской лестницы. Герцен скитался по чужим краям. Достоевский бился в падучей, потому что вы дали ему попробовать каторги.

Вы предали их своими назойливыми буднями, пьяными праздниками, холуйством и нытьем.

Какое вам дело до Пушкина! Когда в немногих строках раскрывается одна из самых трагических и страшных историй в жизни человечества – его строгая и прекрасная смерть, – вас тянет выпить стакан чаю с лимоном. А сколько прекрасных писателей, поэтов, искателей и художников задушены в темных углах нашей критикой, ибо критика всегда ваша, она при вас состоит кормилицей и нянькой, она бережет вас от дурной пищи и пичкает овсянкой из затасканных мыслей. Как йоркшир, она съедает молодые и сочные корни.

Ненависть к вам – к этой тошнотворной человеческой пыли – завещали и Пушкин, и Гейне, и Лермонтов. Вы признали их, но с какой радостью они ударили бы вас по лицу, как кулаком, этим признанием.

В зале сильно шумели.

– Вы продаете свою свободу, своих жен и детей за гроши. Вы прееете в душных и смрадных домах, мучаете детей в замызганных школах, трясетесь над своим добром, над своими тюфяками, над своим спокойствием. Вы умираете от водянок и параличей, вас хоронят, устраивают поминки, вашу жизнь заедают салом, и безутешные вдовы наваливают на ваши трупы каменные глыбы с жалостными эпитафиями.

Вы ненавидите любящих, вы ненавидите радостных людей, вы ворчите на них в трамваях и ждете повода, чтобы затеять собачью свалку.

– Неправда! – крикнул кто-то.

От тихого бешенства у меня заледенело сердце.

– Человеческие подонки! – сказал я медленно и подошел к краю эстрады.

В зале стояла мертвая тишина.

Я кончил и спустился в зал. Тотчас же на меня обрушился свист, шипенье, крики, топот ног. Надрываясь, бился колокольчик, и кто-то истерично кричал:

– Безобразие! Нахальство!

Председатель метался за столом, зеленое сукно сползло, и под ним открылись во всем убожестве ободранные ломбер-

ные столы.

– Выпейте воды, – сказала в коридоре Хатидже и подала мне стакан. Она была бледна. Дрожащей рукой она поправила прядь волос у меня на лбу.

– Пойдем отсюда. Скорей! – попросила она и сжала мои руки.

Винклер и Сташевский были слегка встревожены. А крики и звон колокольчика все нарастали.

## Отъезд

Пароход отвалил поздней ночью. Он долго прокашливался и гудел, дрожа всем корпусом. Бегали по сходням и кричали грузчики. Дрожали фонари на пристани, и в их неверном свете то появлялось, то исчезало хмурое лицо Гарибальди и его красный мокрый шарф.

– Вы бы ушли, – крикнул ему с палубы Винклер. – Простудитесь.

Старик жалко улыбнулся и махнул рукой.

Разбитым эхом смолкал в переулках гудок парохода.

Мы уезжали. Хатидже провожала нас до Старониколаевской косы. С утра в день отъезда перепадал дождь, дул норд, капли стучали по окнам, по заржавленным вывескам. В глазах у встречных стоял холодный блеск.

– Прекрасная серая даль, – сказал мне утром Винклер, стоя у окна. – Смотри, какой переход от свинцового зимнего горизонта к нагромождениям домов и желтому морю. Пойдем пошатаемся напоследок.

Мм вышли. Винклер рассказывал про свои работы. Среди них есть этюд «Серебряное». Осеннее солнце светит будто сквозь чад свечей, и в этом солнце дымится город. Другой этюд «Ночь» – черная вода, небо, черные контуры парохода и только один красный огонь. Винклера больше всего занимает отражение огня в воде. Есть еще голова старика на фо-

не скучного пыльного неба.

– Этот старик, должно быть, Гарибальди? – спросила Хатидже неуверенно.

– Вы нервничаете, Хатидже, – сказал Винклер.

– Мне грустно, – призналась Хатидже. – Поэтому я и хочу проводить вас до Старониколаевской косы.

За заставой нас охватили жгучие ветры, открылись синие дождливые дали. Над безграничными протяжениями полей низко неслись тучи.

Ночью сквозь шорох дождя пароход прокричал четыре раза. Тяжело плеснули по воде канаты, и задрожала палуба. Мигнули огни на пристани, взмахнул старой шляпой Гарибальди, и тотчас же поднялся над городом и берегами красный огонь маяка. Потом маяк затянулся ночной мутью, ушел за край земли, и только крупная соленая зыбь неумолчно билась в железные борта парохода.

Тренькал звонок в машине. Хатидже подняла воротник и прислонилась к моему плечу. Винклер сидел и молчал. Сташевский ушел в каюту.

Наше молчание было наполнено множеством мыслей. Когда Винклер закуривал, огонь спички вырывал из темноты багровый круг палубы, канаты, мокрые поручни и слезы на глазах Хатидже. Пар хрипло рвался из пароходной трубы.

Утром из заспанных и бесконечных вод встало воспаленное солнце, и мрачно загорелись под ним стекла капитанской рубки. От палубы шел пар, и море искрилось и синело до го-

ризонта. Мы подходили к Старониколаевской косе.

Вдали был желтый песчаный берег, белые рыбацьи хатки, и за ними, по ту сторону косы, снова расстилалось налитое тяжелой синевой море.

Хатидже сошла. Ветер растрепал ее волосы, обдувал платье, солнце слепило глаза.

Пароход отвалил. Дым сносило в сторону. Он ложился на воду темной дорогой. Пищали и кувыркались чайки.

Хатидже остановилась в самом конце пристани. За ней стояли дряхлый пристанский сторож и две женщины с корзинами рыбы. Желтела ослепительная полоска косы.

Из своего города я тотчас же написал Хатидже:

«Сквозь облака падал белый свет, и море было в теплом тумане. Навстречу нам шла шхуна, – должно быть, в Тамань.

Мы пили чай в каюте, в тепле. Плескала вода за стеклами, тянулась пустыня моря. За кормой осталась коса. Я часто смотрел туда и думал о вас.

Прошли мимо плавучего маяка. Старый пароход, выкрашенный в белый цвет, с широкими красными полосами, стоял на ржавых цепях. Человек в рваной синей фуфайке облокотился на борт и долго смотрел нам вслед.

Жадность, ненасытная жажда тянет меня к жизни. Я могу без конца говорить вам о каждой минуте, о каждом из прожитых дней. Я нахожу во всем, что вижу, чудесный «вкус и запах», постоянную прелесть.

Только что мы два часа говорили о керченской сельди, о



бычках, о том, как сула идет в донские гирла, о браконьерах, коптильнях и рыбацких артелях. Я почему-то вспомнил стакан крепчайшего кофе в грязном портовом кабаке, то утро, когда я пил английскую водку с капитаном Шевченко, пряные турецкие папиросы и груды мокрой синеватой камсы. И я не знаю, почему, но стало так хорошо жить, двигаться, ощущать на своем лице прикосновение солнца, ветра и женских губ.

За столом в кают-компании сидят персы с добрыми глазами, морщат лица, гортанно смеются и пьют чай с изюмом.

Как щедра жизнь, как полон каждый день. Вы это знаете лучше многих».

Через неделю я лежал в своей холодной комнате и перечитывал письмо Хатидже. В конце была приписка:

«Вы пишете о жажде к жизни. То же теперь и со мной, только я не умею об этом писать. Я очень и очень благодарна судьбе за каждую минуту, когда я не вижу вас.

На Старониколаевской косе я пила чай в доме рыбацки. На оконцах стояли сухие травы, пахло мелом, смолой, было тепло, и за дверью на песках едва слышно шуршало море. И рыбацка спросила меня: «Что это, должно, суженого проводжала?»

## II. НАЧАЛА И КОНЦЫ

### Одиночество

Я смотрю с Москворецкого моста на черные промоины реки. В дыму золотеют кремлевские купола.

Вот она – Москва. Синяя от трактирных вывесок, запутанная в переулках, крикливая от мороза и дымная от костров. С угрюмых площадей Замоскворечья глядит Азия, монотонные закаты пылают в окнах мезонинов, кричат извозчики, благовестят к вечерне. Как теплая горница с цветистыми печами, дымит Москва окраин. Гоголь понуро смотрит на Москву, ежась от холода, жестокие сказки видятся его бронзовым глазам. Румянец, золото и дым горят под солнцем, и полозья скрипят, как в деревне.

Я один. Где-то далеко – осень и город у моря, Хатидже, тоненький Винклер, брань Сташевского и хитрые глаза Алексея. Я вспоминаю, как там, в осеннем нежарком солнце, дымил пароход у пристани на Старониколаевской косе. Дул ветер. Далекый и милый ветер.

А теперь одна только открытка.

«Пришла зима. Я часто думаю о Москве, о многотысячном городе, где вы бродите один и смотрите на все чужое, чего не вижу я. Вы зябнете там, в Москве, а у меня здесь

зябнет сердце. Каждая маленькая буква, написанная вами, согревает меня. Котенок спит у меня на столе. Он перевернулся па спину и размазал несколько слов. Я его ударила, а он потерся о мою щеку пушистой мордой».

Ломая спички и обжигая пальцы, я поднимаюсь по темной лестнице на четвертый этаж. Ложусь, не раздеваясь, слышу, как кто-то дышит за перегородкой, и, закрыв глаза, думаю: зачем я здесь?

Как-то утром там, у моря, я взглянул на вокзальные часы и подумал: «Надо уехать. Тогда станет острее моя тоска по Хатидже, она мне поможет писать». Часто я спрашиваю себя – достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем. Мне нужна была затерянность среди сотен тысяч.

Я всюду искал страдание. Оно мне было нужно больше радости. Я бродил у московских застав, на Стромынке, в Лефортове, в Хамовниках. Сизый снег лежал на Воробьевых горах, ветер сверлил воздух над пустырями, мосты над рекой висели тяжелыми дугами. Все было неприветливо. Вместо человеческих лиц были треухи, вместо тел – лоснящиеся салопы. Это вызывало печаль, но от нее я рос, и новые крепкие мысли все чаще приходили мне в голову.

Каждый день я повторял себе – сегодня я мог бы уехать, но я не уеду, потому что хочу закончить начатое. Здесь, в одиночество, я много пишу.

Все короче и нахмуреннее дни. Все чаще горит ночь напролет лампа в моем окне, потрескивает отопление, и все

крепче дурманят меня мои образы. Одиночество не тяготит меня. Но временами мне надо двигаться, повторять про себя имя Хатидже, с кем-нибудь говорить. Тогда я много курю, вглядываюсь в девичьи глаза, жадно перелистываю книги. Потом иду в соседний трактир с канарейками. В гомоне, звоне чайников, в пару и духоте я забываю тревогу, слушаю дребезжащую машину, визг дверей и говорю себе едва слышно: «Нет, очевидно, я немного сумасшедший».

Я пишу, превращаясь в книги, я отдаю себя всем. Я верю, что вечность дышит со страниц книги, туманит мне голову, и, закрыв глаза, я чувствую, как ветер из сада холодит лицо, засыпает снегом исписанные листки, как когда-то присыпали чернила песком. Писать мучительно.

Спустя год на полях своей книги я прочту сотни пометок о моей глупости, сентиментальности и жалких потугах моего ума. На страницах книги, у себя в мозгу я найду эти мимоходом брошенные обсосанные окурки. Временами я ненавижу всех. Когда я думаю плохо о людях, я не могу писать. Желчь скребется в душе, как запертая собака. Я стараюсь забыть, я отмахиваюсь от мысли, что я тоже человек.

Студнем висит над головой опухшее небо. За окнами все то же: засаленные, как селедочная бумага, подола женских юбок, клячи в комьях навоза, гнилой пар из сотен ртов, тревохи, невымытые лица, желтый больничный свет. Даже башни Кремля – белой величавой Мекки – тонут в гнилостном зеленоватом тумане.

Хатидже пишет, что над морем уже яркое февральское небо. Часто бывают туманы, – значит, будет ранняя и жаркая весна.

«Я жду вас, – пишет она, – должно быть, вы больны или очень устали. Приезжайте скорей. На несколько дней приезжал Винклер. Говорит – тоска. Мне его очень жаль. Он часто приходил ко мне с Гарибальди».

# Газета

Деньги кончились. Я начал голодать, скитаясь по дешевым трактирам и студенческим столовкам. К вечеру у меня ныла голова и трудно было писать. Все выходило нудно, глупо. Я рвал написанное. Дни проходили без всякого смысла.

Шла весна. Снег поплыл по улицам потоками мочи и навоза. Блестели мокрые крыши. По вечерам розовело Замоскворечье и отчаянно кричали в садах галки. Ночи судорожно зевали зелеными вспышками огней, бежавших по трамвайным проводам.

Я вспомнил об одном приятеле Алексея, старом литераторе, и пошел к нему. Алексей в письме к литератору просил достать мне работу. Это был чахоточный и очень серьезный человек.

– Хотите пропасть? – спросил он меня и улыбнулся одними глазами. – Ну что ж, пропадайте.

– Почему?

– Такая наша газетная работа. Затянет.

Через день я начал работать. Я перестал голодать, но писать было все же трудно, может быть от усталости, может быть потому, что я искал нужного мне конца книги, – конца, в котором было бы только несколько крепких, спокойных фраз.

Мне давали странные и любопытные поручения. В Худо-

жественном театре шел «Живой труп» Толстого. В день премьеры редакция получила письмо. Автор его, какой-то Никифоров, писал, что с «Живым трупом» произошла чудовищная ошибка, что написал эту пьесу он, несколько лет тому назад, и послал Толстому на отзыв. После смерти Толстого рукопись нашли в его бумагах и приписали Толстому. Черновики рукописи сохранились.

Литературная Москва заволновалась. Мне поручили расследовать это дело.

Я поехал к Никифорову. Он жил за Бородинским мостом, на набережной, в деревянном угрюмом доме. Был ледоход, река валила мутным валом, на Пресне дымили фабрики.

Никифоров – сухой старик с воспаленными глазами и копной серых волос – встал с продавленной кушетки и поднял воротник пиджака. Я рассказал ему, зачем пришел. Руки у него затряслись. Он быстро закартавил:

– Простите, живу я плохо, негде вас посадить. Я бывший артист. Я написал «Живой труп», но произошла ужасная ошибка. Теперь я тоже живой труп. Моя пьеса прославила Толстого, а я живу как нищий. Я робкий человек, я боялся напомнить Толстому о пьесе, она пролежала у него три года. Ведь эта пьеса моя, там люди, которых я знал, там женщины, с которыми я был близок.

Он заплакал.

– Но чем вы можете доказать, что эта пьеса ваша?

– Чем? – Он полез под кушетку и, сморкаясь, вытащил

солдатский сундучок. – Вот чем! Вот – черновик рукописи. Кроме того, я скажу вам адрес героини. Она жива, она тут недалеко под Москвой, в Пушкине. Расспросите ее, она все расскажет.

Я записал адрес. Потом взял рукопись. Это была точная копия «Живого трупа». Чернила на листах линованной бумаги блестели. Я незаметно поплюнул палец, прижал его к первой строчке, и она отпечаталась на моем пальце, как снимок. Все было ясно, – «Живой труп» был переписан недавно.

– Это старая рукопись?

– Ей четыре года.

Старик плакал. Я скомкал разговор, попрощался и выскок из комнаты. Он явно врет. Но тогда почему же он плачет? Адрес героини запутал меня совершенно.

В тот же вечер я поехал в Пушкино. Была черная весна, похожая на осень, подмерзшая листва хрустела под ногами, свежий воздух резал легкие. Я посмотрел на адрес: «Пушкино, аптека, спросить Наталию Викторовну».

В аптеке было пусто, полутемно. Вышла бледная женщина. Рыжеватые волосы ее были гладко зачесаны, глаза – пустые, недоверчивые.

– Вы ко мне?

– Да. Меня направил Никифоров. Я хочу поговорить с вами о «Живом трупе».

Она долго смотрела на меня, глаза ее почернели, потом истерично крикнула:



– Уйдите! Оставьте меня в покое! Как вы смеете! Довольно с меня Толстого.

Она опустилась на стул у прилавка, забилась. Из задней комнаты выбежал толстый маленький аптекарь. Он суетился, совал ей что-то нюхать, охал и качал головой.

– Как неосторожно! Боже мой, как неосторожно, – говорил он и с укором смотрел на меня. – Как вы ее нашли? Кто вы такой? Ай-ай-ай, как скверно вышло! Вы лучше уйдите. Она совсем не может вспоминать об этом.

До рамой Москвы лицо мое горело от стыда. В вагоне я открыл окно и высунулся. Поезд шел по закруглениям в лесу, пар цеплялся за деревья. В лесных чащах лежала ночь, было глухо и одиноко. Не верилось, что в двадцати верстах Москва.

В Москве я сказал редактору:

– Увольте меня, но таких поручений я больше брать не буду.

Он посмотрел на меня и пожал плечами.

– Настоящий журналист не должен отказываться ни от каких поручений. Это закон. Или да, или нет.

– Нет, – ответил я.

– Ума не приложу, что мне с вами делать.

Я ушел.

Литератор был прав. Газета меня затянула. Горячая жизнь редакции билась часто, как пульс Москвы – города астраханских базаров и лондонского Сити. Я изучал журна-

листов как особую разновидность людей. Это были комки нервов, один кричащий нерв – начиная от пронырливых и задорных репортеров и кончая раздраженными и хмурыми редакторами.

Кокаинисты, пьяницы, весельчаки, потерявшие веру во все, они ощущали жизнь как веселящий газ. Обыденность жизни, внушавшая другим скуку, ежедневная необходимость заводить часы на новые сутки была для них не страшна, наоборот – приятна. Она возбуждала. Каждый день вставал, как громадный вопросительный знак, и только им одним было дано отыскать гвоздь этого дня, его стержень, стереть вечером до нового утра этот исполинский вопросительный знак.

Среди них попадались необычайные рассказчики – резкие, обрывистые, говорившие началами фраз, лепившие сюжет из одних мазков, отбрасывая связи и подробности.

Были непролазные неудачники, над которыми полагалось смеяться. Были присяжные поверенные, блиставшие пустым красноречием, старые народники, маклера, поэты, вечные студенты, нищие московские чудачки, любители соловьиного пения, надменные короли-фельетонисты, – собрание совершенно непохожих людей, связанных товариществом, работой, богемством и всегда выделявших себя над плотной массой служилого люда... Жизнь страны преломлялась в их мозгах сотней забавных или печальных анекдотов.

После десяти лет работы они теряли вкус к жизни, верста-

ли, как автоматы, газетные страницы, дымили крепким табаком и скептически посматривали на газетную молодежь, гонявшуюся за сенсациями.

Только это слово – сенсация – действовало на всех одинаково. Это был взрыв бомбы, подымавший на ноги редакционные муравейники и выводивший из величавого недовольства редакторов. Охрипшие репортеры, треск машинок, истерический звон телефонов, сияющие глаза – вот она, сенсация!

Тогда над Москвой стояла густая, как запах духов, певучая экстравагантность стихов Северянина. Трагическое его лицо плыло по Кузнецкому мосту рядом с желтой и тревожной кофтой Маяковского.

Читал свои рассказы Бунин. Его глухой, без интонаций, голос усыплял. Сюртук был застегнут на все пуговицы, пергаментные руки были брезгливы и сухи, но за всем этим вдруг расцветала жаркая Иудея и русский язык сверкал, как только что найденный клад золотых монет.

С наигранной и пышной восторженностью шаманил Бальмонт. Внезапно стихи его теряли костяк, плыли словесным туманом. За ними открывалась выхолощенность души. Маленький дряблый человек становился на дамские каблуки и, не замечая собственного уродства, играл роль соблазнителя.

Процветали теософы. Люди играли грошовыми идеями, как величайшими открытиями, от общения с ними тошнило, как от патоки. Женоподобные нарумяненные мужчины

не стыдились ходить по улицам, – был их век.

Было тоскливо и тревожно. Я каждый день ждал событий, чего-то нового. Оно должно было случиться, должно было проветрить застоявшуюся Москву и всю Россию.

## Вот она, Москва!

Ночь была совсем морская – горьковатая, как рассол. Я видел за синими квадратами окон северные звезды. Я прижимался лбом к холодному окну и смотрел в снежные пропасти улиц, где качались, жужжа, калильные фонари. Занималась заря над крышами Замоскворечья. Меня лихорадило. Сухо было во рту, и ломило ноги.

Я боялся, что зимние ночи своими морозными ветрами и полярным мраком лягут на торопливые строчки, и будет мало солнца в моей почти законченной книге.

Я проклинал эти ночи, и дневную усталость, и четыре фабричные трубы за Каменным мостом. При взгляде на них словно сморщивалась моя мысль. Подолгу, ничего не видя, я сидел у стола в каком-то оцепенении.

Но этой ночью я писал легко и спокойно. Я уснул ранним утром, когда по Арбату прогромыхал, светя огнями, первый трамвай.

Разбудил меня Семенов – наш газетный художественный критик. Мягкий, влюбленный в Москву, он за последние дни все чаще сидел у меня, пил чай с коньяком и читал стихи Оренбурга.

– У Оренбурга есть изумительные вещи! – говорил он, словно оправдываясь, и вытаскивал из кармана книжку. – Вот послушайте:

Как много нежного и милого  
В словах «Арбат», «Дорогомилово».

Или вот это:

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме  
И о мамином теплом платке,  
О столовой с буфетом, с большими часами  
И о белом щенке.

Ведь это же редкие вещи, как вы не понимаете! Вам нужна всякая чертовщина – драки, тропическая жара, кругосветные рейсы. А мы попроще. Сядем с ногами на диван, самовар шумит, читаем Лескова – и хорошо. А то пойдем в Художественный, пожалеем трех сестер. Или пошляемся по трактирам, попьем чайку с тверскими извозчиками. Хорошо еще под Москвой – в Архангельском, Останкине, – там прелесть вековая. Ничего этого вы не знаете. Хотите, поедем в Нескучный сад?

– Едем.

У Калужских ворот было шумно. Дрались в лошадином навозе воробы. Ветер гнал прошлогоднюю сухую листву, низко лежало над улицами серенькое, помаргивающее небо.

Нескучный сад был весь точно выткан черным узором ветвей и позолотой листвы, пережившей зиму. В окнах дворца светилось небо, за Хамовниками дымно лежала Москва, яр-

кие пятна Спасителя.

– Вот вам Москва, – радостно сказал Семенов. – Есть в этом городе великая правда. Здесь, в Москве, чувствуется вся хлебная Россия, крепкий запах берез, бескрайность и сиротство нас, русских. К Москве, как и ко всей стране, я чувствую свою сыновность, как к старенькой няньке. Помню, во Франции я жил в маленьком бретонском городке. Как-то утром я проснулся и в зеленом тумане увидел тяжелый океан. Я испугался, и у меня была одна мысль – скорее уехать домой в Россию, в осень, в лесные поляны, заросшие вереском и дикой гвоздикой.

Мы медленно шли обратно. У заставы зашли в трактир Гусева. Внизу гудели извозчики. Наверху, в «дворянских комнатах», гремела машина:

Шумел, горел пожар московский,  
Дым расстилался по реке,  
А на стенах высот кремлевских  
Стоял он в сером сюртуке.

Дребезжали стекла. Напрягая голос, я рассказал Семенову о книге, которую пишу. Называться она будет просто – «Жизнь».

Жизнь каждого – неизвестного и великого, безграмотного и утонченного – всегда таит саднящую тоску о другом, более радостном существовании. Так рождается тоска по раю, по стране обетованной, грезы поэтов, системы философов, пе-

реливающееся из одной эпохи в другую томление по недостижимым краям. «О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!...»

– Сюжета я в этом не вижу, – сказал Семенов. – Очевидно, это только канва. Ну что же, пишите. Это прекрасно – писать. Люблю я эти трактирные разговоры, – сказал он неожиданно и рассмеялся.

Возвратились мы вечером. В уютных переулках Арбата мягко горели звезды. Ровный шум наплывал с бульваров.

Квартира Семенова была на шестом этаже, как в маяке. В тесном кабинете были навалены книги, рукописи, гравюры.

Семенов перелистывал толстый веленевый том, сидя на вытертом турецком диване. Его сестра Наташа, молодая артистка, читала вполголоса стихи Волошина. На улице было холодно. В соседней комнате старая нянька готовила чай и старалась не шуметь.

– Расскажите что-нибудь, – попросила Наташа, перебирая узорчатый платок. – То, о чем я только что читала. Ведь это ваше, южное?

Я рассказал о степях, о курганах, могильниках, о легендах, которые я слышал с раннего детства в своих краях, об осени, когда красной ботвой и пеплом полыни запутаны степные тропки и море лижет пустынные пески.

– Там я всегда вспоминаю пушкинские стихи: «Земли полуденной священные края...».



Я рассказал о Таганроге, городе белых акаций, сонном и чистом, на берегу бледного моря. В его душных садах всегда греет жаркое солнце, в игрушечной гавани около набережных, поросших одуванчиками, стоит на ржавых цепях разоруженный клипер «Запорожец».

Я вспомнил Мариуполь с большим, пустующим портом, кривыми тавернами и пляжем, заросшим татаркой, пепельно-серую Керчь, пустые берега лермонтовской Тамани, красоту овечьих запахов моря севавтопольских улиц, пенящиеся прибои у Херсонеса и Бахчисарай, весь в усыпляющем звоне фонтанов.

Я говорил о блеске и жадности Одессы, самого бесцеремонного города в России. Я вспомнил Днепр у Екатеринослава, весь в широких косах, необыкновенную киевскую осень и, наконец, Туркестан, могилу Тимура на выжженных взгорьях, страну раскаленных песков, где особая тишина пустыни и широкие заунывные закаты.

Я рассказал о выжженных берегах Каспийского моря. Там, в забытом людьми городке, мы играли дни и ночи в железку, слепли от солнца и пили скверный коньяк, чтобы не заболеть лихорадкой.

Глаза у Наташи заблестели.

– Неужели вы все это видели? Ведь этого хватит на целую жизнь.

Я засмеялся:

– Земной шар не так уж велик.

За чаем пришел Роговин, высокий, в сером костюме, «невинный», по словам Семенова, и талантливый человек, сотрудник одной из больших газет. Он был из духовных, прожил нищее детство, с невероятным трудом попал в газету. Здесь он быстро стал известен своими блестящими рецензиями. Веселый, привязчивый, как ребенок, он был своим человеком в кружке Семенова.

– Встретил я этого идиота, – сказал он, садясь за стол. – Поэта этого К. Челку носит, как провинциальная девица. Говорит, что пишет новый роман. Называться он будет «Губы дружбы». Спрашивает меня, оригинальное ли это название. Я обозлился и сказал, что оно вызывает у меня представление о губошлепах. Он моментально со мной согласился. Графоманы, бездари захватили журналы, тащат за собой сюсюкающих мальчиков, задирают нос, говорят нараспев, как дамы с болонками, ходят развинченные, хлипкие, пишут дешевую ерунду.

– Плюньте вы на этих кретинов, – лениво посоветовал Семенов. – Налейте лучше рому в чай.

– Наташа у вас сегодня что-то очень сурова, – сказал Роговин и дернул за ухо Бобку, белого песика с черным пятном на носу. – Что это с вами?

– Ничего, – ответила Наташа. – Максимов рассказывал тут о своем бродяжничестве.

– Вы его только послушайте. У меня на море морская болезнь, а у него – черт знает что: и фрегаты, и жемчуга, и ле-

тучий голландец.

Наташа покраснела.

Пришла подруга Наташи, Нина, светловолосая полная девушка.

Ее дед сидел в заваленных пряжей амбарах Черкасского переулка и при свете лампы у кованых киотов считал купоны и ассигнации. Ее отец ворочал делами широко и смело, председательствовал на промышленных съездах, был благодушен, неутомим, издавал свою газету и одевался, как англичанин.

Нина курила, любила подолгу смотреть в глаза, носила серый шелк.

Она предложила нам билеты в театр. Мы шумно спустились на улицу и после отчаянного торга с извозчиками, – Роговин обвинял их в том, что они нанюхались кокаину, – пошли пешком. Извозчики неслись за нами, обгоняя друг друга, хлестали лошадей и наперебой кричали:

– Ваша светлость, пожалуйста!

Роговин сдался, и мы сели. Я ехал вместе с Наташей. У Никитских ворот, в ярком свете фонарей я взглянул на ее тонкий профиль.

С этого вечера я полюбил Москву.

# Окраины

До встречи с Хатидже я ничего не боялся. Мне нечего было терять. Я жил ожиданием. Чувства прошлого у меня не было.

Теперь временами мне страшно. Я боюсь потерять Хатидже. Я боюсь ее хрупкости. Жизнь проходит слишком быстро. Я боюсь, что у меня не хватит сил создать себя, что я слишком беден для любви. Я боюсь повседневной работы, и лица многих людей уже не годятся для встреч, – они разламывают день надвое, мешают мне думать.

Весной начинается тоска. Она тянет меня в дождливые дни бродить по улицам, где я не могу встретить ни одного знакомого. В Садовниках, на Щипке, в Марьиной роще, кроме тощих баб и множества детей, я никого не встречаю. Мне никого не надо. Я становлюсь больным в своем одиночестве.

Давно уже я привык встречать тоску, как неизбежное, и бросил попытки искать ее причины, ее начала и концы. Боль приходит, как сон. Когда тоска – хорошо писать. Когда не пишешь, ищешь боли. Перерождается душевная ткань, гранулирует, как рана.

Роговин стал очень молчалив. Семенов часто пьет. Наташа возбуждена и радостна. Их радость, запои и молчаливость – от этой тоски, которой нет имени.

Это нечто большее, чем тоска. Она бьет в сердце, как

сырой стремительный ветер. Человек перерастает себя. Будущее бродит в нем началом свежести, блеска, совершенно особого восприятия мира.

Иногда я ощущаю на самом пределе сознательного сотни непередаваемых вещей, желаний, образов. Ум не в силах понять и охватить это. Сквозь его бесплодие и вялость я все чаще слышу требовательные упругие толчки новой воли.

По утрам я часто уезжаю на пароходе по Москве-реке на Воробьевы горы. На маленьких пароходах бывает всегда пусто – ездят только мальчишки, молочницы и огородники из Хамовников и Живодерной слободки.

Однажды я позвонил в редакцию и сказал, что болен. Я целый день слонялся по городу, шел переулками, чтобы никого не встретить. Над водой стоял дым. У Бабьегородской плотины прачки полоскали белье, синька и мыло плыли замысловатыми узорами. На Болоте я взял билет и сел, дожидаясь парохода. Я читал Уайльда. Голуби топтались под ногами. Пахло нефтью, сеном и яблоками. В розовом дыму сверкала и звонила Москва. Синие тени ползли от облаков. Пестрая шаль города выцветала, загоралась и играла солнцем. Вдруг зашумели голуби, и кто-то закрыл мне рукой глаза:

– Наташа, бросьте!

– Почему вы узнали?

– По перчатке и потому, что вы – единственная, кого я знаю в Москве.

– Я шла по Кадашевской набережной и увидела вас. Голуби окружали вас стаей и чего-то ждали. Вы их кормили?

– Нет.

– Куда вы едете?

– На Воробьевы горы.

– Едем. У меня сегодня нет репетиции.

На палубе она рассказала о своем театре. Каждое лето они уезжают всей труппой в Евпаторию, там у них клочок земли и хибарка из камня с брезентовым верхом. Они ловят рыбу, грузят на пароходы соль, загорают.

Я часто видел теперь Наташу, но никогда не мог отделаться от легкого смущения. Глаза у нее были подведены, блестящие, тугие серые чулки обтягивали высокие ноги, она часто улыбалась и трогала меня за руку.

– Вы ни разу не были в нашем театре?

– Нет.

– Завтра пойдемте. Приходите вечером, я принесу вам билет.

Пароход жалобно свистнул и заработал винтом. Со dna взрывами подымалась черная грязь. Мальчишки на берегу заулюлюкали и стали кидать в рулевого щепками.

– Я вам покажу, байстрюки, – свирепо крикнул рулевой.

За Стрелкой вышли на реку, десятки лодок ринулись к пароходу – покачаться на волнах. Голые мальчишки хватались за борта. Пароходик отчаянно свистел, рулевой ругался, от воды шел гам, смех, крики.

– Я единственная, кого вы знаете, – сказала Наташа, и в глазах ее сверкнуло солнце. – Это не похоже на вас. По моему, вы авантюрист. Я люблю говорить с вами. Неужели там, у моря, у вас нет ни одной знакомой женщины? Море, штормы, портовые города, все это прекрасная обстановка для любви.

– У моря есть.

– Поэтому в Москве вы ни на кого не смотрите? Правда?

– Если хотите, правда.

– Я единственная, кого вы знаете в Москве, но вместе с тем я – не единственная; любопытно, правда? – сказала она, помолчав, и засмеялась. – Какая у вас книга?

Она взяла книгу, быстро перелистала и бросила за борт. Рулевой оглянулся. Мальчишки с гамом бросились ловить книгу, один схватил ее в рот и поплыл за пароходом. Черный огородник с решетом посмотрел на Наташу и сказал весело:

– Ну, нравная. Книга-то чем виновата?

– Зачем вы бросили?

– Так... Загадала, – если потонет, то да, если мальчишки поймают, то нет.

– Кидай, оголец! – кричал рулевой мальчишке. Пароход замедлил ход. Пассажиры висели на бортах. – Кидай, докинешь!

Мальчишка изловчился и бросил. Книга упала у самого борта и медленно пошла ко дну.

– Потопла, царствие небесное, – сказал огородник. – Чу-

деса с этим пароходом ездить. Всегда какой-нибудь случай. Вчера бабу с молоком перевернули, сейчас книжку утопили.

– Максимов, – сказала Наташа и отвернулась от меня. – Не сердитесь. Последние дни я делаю много глупостей. Я сегодня же достану вам такую книгу. Это вышло так... я сама не знаю.

– Пустое.

В книге было последнее письмо Хатидже. Я его еще не прочел.

Река потемнела от зелени, стихла. Слева пошел суглинок. Пароход круто завернул и причалил у маленькой пристани.

На пристани стоял рыжий веселый пес и лаял на пароход, на реку, на всех нас.

Я пошел купаться. Наташа села на берегу, на поваленном дереве. В синеве плыли тугие облака. В купальне было пусто, тепло, сопливый вихрастый мальчишка удил рыбу.

Я доплыл до другого берега, прицепился к пароходу, потом нырнул.

– Сейчас поедem. Домой приду – опять сидит Роговин. Он милый, веселый человек, но он все время болтает. Отвратительная журналистская привычка. Шумит, поет, хохочет, рассказывает анекдоты, а мне тишины хочется. Я не могу думать, я не могу даже глупо помечтать о разговорах с капитанами на палубе. Вы меня заразили своими морскими рассказами. Мне постоянно снится старый порт, будто я ламповщица, зажигаю на пристанях масляные фонари, шкипера



угощают меня черным вином и целуют в затылок.

– Вас угощают не черным вином, – сказал я серьезно, – а вином с острова Тутуита на Тихом океане. Это самое крепкое вино, оно пахнет девичьей грудью. У моряков есть поверье, что приворожить женщину можно только этим вином.

– Ну, разве вы не сумасшедший? – сказала Наташа. – Может быть, меня уже напоили вином с островов Тутуита. Любопытный разговор за бутылкой кислого трехгорного пива.

Налетел ветер, тень покрыла сад и реку, в далеком солнце тихо сверкала Москва. Мы спустились к пристани и сели на пароход в Дорогомилово. У Бородинского моста мы сошли. Над Арбатом стояла вечерняя пыль, скрежетали трамваи.

Когда мы прощались, Наташа сказала:

– Вечером вы придете ко мне за билетом и книгой. В книге у вас ничего не было?

– Нет.

– Ну, слава богу! Никогда не кладите в книги письма любимых женщин, – сказала она и рассмеялась. – Прощайте!

# Записка

Я окончил свою книгу. Стало скучно, я постарел на десять лет. Хотелось еще писать, заставить людей смеяться, любить, делать глупости и бродить по стране. Они умерли в ту минуту, когда я дописал последнюю строку и поставил точку. Я стал не нужен себе. Я долго сидел на окне, курил, ходил по комнате.

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик  
ненужный,  
Плату принявший свою, чуждый работе другой?  
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,  
Друга пенатов святых, друга Авроры златой?

Я решил пойти к Семенову, взять его с собой и пошататься по трактирам. Неожиданно мне принесли письмо от Наташи.

«Вы долго не были у нас, – должно быть, сердитесь за то, что случилось на пароходе. Я знаю, что вы пишете что-то хорошее (так говорит брат), но неужели вы не можете оторваться на два часа? Мне сегодня очень скучно. Я готова реветь, как деревенская баба.

Вечером я играю только в первом акте. Если вам не трудно, зайдите за мной в театр. У меня есть одна блестящая мысль».

Я зашел в какую-то кондитерскую на Большой Никитской и выпил крепкого кофе. В зеркале я увидел себя. Я сильно побледнел, загар сошел, руки стали тоньше и темнее глаза. Всю крепость свою я отдал «Жизни». И только там, в кафе, я впервые понял, как я устал.

Я старался не думать о письме Наташи. Что я скажу ей? Когда я дописывал последние главы, я ведь думал о ней.

«Жизнь хороша, – снова подумал я, входя в театр. – Я принимаю все – и любовь Наташи, и мою любовь к Хатидже. Меня одинаково волнуют и любящие глаза Наташи, и моя печаль по девушке, что ждет меня там, у моря».

В фойе было пусто. Я сел на вытертый бархатный диван. Со сцены доносились голоса. Люстры под потолком были затянуты желтой марлей.

«Она спешит жить», – подумал я о Наташе и закурил.

Тянулся заглушенный спектакль. Послышались быстрые шаги. Отбросив папиросу, я встал навстречу Наташе. В эту минуту я безнадежно и радостно понял, что мне не уйти от того, что надвигалось на меня еще смутно, неясно.

Наташа протянула мне обе руки и заглянула в глаза.

– Вы так мне нужны, – сказала она, садясь рядом со мной. – Все, что я писала вам, это не то. Я еду на три дня в Архангельск. У меня эта неделя свободна, и я хочу выкинуть очередную глупость. Поедем со мной. В час ночи идет поезд. Мы пробудем там два-три дня. Я знаю, что вы не подумаете ничего дурного. Вы по-мужскому чистый человек. С вами я

могу говорить обо всем.

– Едемте, – ответил я.

– К часу ночи я буду ждать вас на Ярославском вокзале, – сказала Наташа, когда мы вышли. – Сейчас на душе у меня тихо, точно я – невеста. Со мной этого никогда еще не было. Это так хорошо, что я теряюсь и готова плакать. Вы подумайте, Максимов. Мы будем одни в северном полярном городе, среди незнакомых людей. Я расскажу вам много хорошего.

Она легко вскочила в трамвай, оглянулась. Я пошел к Арбату. Зеленое небо тлело над древней Москвой. У себя в комнате я выпил вина и уснул.

Мне приснились улицы, нагретые солнцем, белые улицы и католические мертвые монастыри. Бледное, страшное, далекое небо глядело на город, на меня. Я ждал у ворот монастыря Наташу. Она была за оградой. Громко капала вода около каменного колодца, со стен душно свешивалась сирень. Зазвонили колокола, я вошел в ограду, в темный собор. Дымили тоненькие свечи, летали голуби, лицо Наташи было смуглым и бледным, как серебро на черных иконах.

Была очень длинная служба. Священники говорили шепотом и лишь изредка восклицали гнусаво и торжественно: «Amen!» Ресницы Наташи дрожали, с них капали на чугунные плиты редкие слезы.

Она наклонила голову, и седой низенький священник надел ей золотой венец.

– И ныне и присно и во веки веков.

– На веки веков я люблю тебя, – сказала Наташа и обняла мои плечи.

Она засмеялась, и я увидел, что это не Наташа, а Хатидже. Стены собора стали прозрачными. От странного свиста у меня закружилась голова – то свистели крыльями тысячи чаек, летевших к морю.

– Идем, – сказала Хатидже. – Тебя ждет Жучок. Он поймал рыбу с синими плавниками. Он помолодел на двадцать лет.

Я проснулся. Было холодно, я дрожал, закутался в пальто. По Арбату мчались пустые трамваи. Москва засыпала.

На вокзале за столиком в буфете меня ждала Наташа.

– У вас жар, – сказала она и начала быстро снимать перчатку. – Дайте ваш лоб. Ну да, вас лихорадит.

– Это от сна, – ответил я. – Я спал, и мне приснился странный сон.

Я рассказал ей сон, но не сказал о Хатидже.

– И ныне и присно и во веки веков, – сказал я и посмотрел в ее потемневшие зрачки.

– Не рассказывайте мне таких снов, слышите!

## Норвежский капитан

В Архангельске нас встретили серые тяжелые ветры. Размерзалось Белое море. Океан был еще во льдах. Запахом рыбы и леса тянуло с набережных, тусклые фонари терялись в полярной ночи, старинными стенами белели на площадях соборы и низкие дома.

– Хорошо! – сказала Наташа. – И говор у людей какой-то особенный, морозный. Вы не сердитесь, что я затянула вас сюда? Мне так хорошо, будто я во сне.

Ветер нес редкие капли талого дождя. Дряхлый извозчик придержал лошаденку, пожевал губами и спросил:

– А вы, милые, московские?

– Московские.

– Должно, по торговым делам?

Я засмеялся.

– Да, дедушка, по торговым.

– Дела ноне серьезные. С лесом или с рыбой, к примеру. И жена-красавица с вами ездит. Это, милые, днем с огнем не сыскать, чтобы душа в душу.

Он засмеялся дребезжащим смешком и затряс головой.

– Ноне не-е-ет! Лад совсем уж не тот. Да. Сына моего молдуха вот бросила, за помором ушла в Кандалакшу. На кой ей ляд тот помор?

– Ну, давай вам Христос, – сказал он неожиданно, стащил

меховую шапку и перекрестился.

В гостинице светло горели лампочки. Бесшумно бегали по красным коврикам коридорные. Наташа выбрала себе небольшую комнату в конце коридора. Туда внесли ее ручной портплед. Мне отвели большую теплую комнату с побуревшими видами Соловецкого монастыря, старомодными глубокими креслами и синей кафельной печью. На круглом шатком столе лежал прошлогодний календарь и стояла высушенная чернильница.

За дощатой стеной кто-то говорил на незнакомом языке. Коридорный, скромно стоя у двери, рассказывал, что это капитан-норвежец, зазимовавший в порту.

– Как здесь все странно, – сказал я Наташе, садясь на старый ковер у ее ног. – Рядом со мной в комнате норвежец-капитан, а на стенах старые гравюры – виды Соловков, соборов, деревянных церквей. Разве не странно, что мы сразу стали так близки, что вы здесь со мной, что каждую минуту я чувствую здесь, рядом, ваше дыханье, ваш голос? Я люблю и буду потом, в памяти, любить все, что вокруг, – и соборы, и пустую гостиницу, и норвежского капитана с золотыми шевронами, и вот эти старые пожелтевшие фарфоровые чашки, и себя, и все то, к чему вы хоть раз прикасались.

– Максимов, родной, – сказала Наташа и тревожно взглянула мне в глаза. – Я забыла свои капризы. Вы ведь знаете все. Говорите.

– Может быть, все это я выдумал, как в детстве выдумывал

тысячи историй, волновавших меня до слез. Не знаю. Я знаю только одно, Наташа, знаю крепко, что сейчас я люблю себя только за то, что вы сказали мне в Москве: «Я хочу чувствовать на себе ваши глаза, вашу силу, слышать ваш голос, жить тем, чем живете вы». А может быть, – продолжал я тихо, – я уйду завтра же. Я ничего не знаю. Вы не должны мучиться.

– Если бы вы знали, – с болью сказала Наташа, – как я ждала и боялась этой минуты, как мне было тяжело там, в Москве, когда вы еще ничего не подозревали. Я плакала дни и ночи, как глупая беспомощная девчонка. Я рвалась к вам и боялась вас встретить. Я даже ненавидела вас. Господи, я совсем обессилела, я была совсем больна и презирала себя за это. Я поняла тогда, что вся моя вздорная гордость, и театр, и прежняя жизнь с ее вечной тоской – все так пустяково и жалко перед тем, что случилось. Все это ушло, и осталась одна любовь к вам, тревога за вашу усталость, боязнь за вас. В тот вечер, когда я сказала вам об Архангельске, я не могла играть. Я просила свою старую няньку дать мне снотворного, чтобы хоть на минутку уснуть и во сне неясно, радостно видеть, что вы любите меня. Я подошла к той черте, за которой или что-то жуткое, бесповоротное, или счастье. Но его еще нет, Максимов.

– Почему? – спросил я и встал.

– Почему? – повторила она и тоже встала. – Вы помните, я бросила в реку вашу книгу. В ней было письмо от той, кого вы любите. Я это знаю. У вас не дрогнула даже бровь. Это



испугало меня. Или правда, что у вас началось настоящее, или... – она надолго замолчала, – или у вас холод в душе, и вы идете за каждой женщиной. Я не знаю...

Она подошла к окну. У меня что-то оборвалось на сердце. Отвращение к себе ударило в голову. Я сел на диван. Зеленая полночь исчезла, я услышал крик Наташи и потерял сознание.

Обморок был короткий. Когда я открыл глаза, в ушах звенели десятки телеграфных столбов. Наташа стояла около меня на коленях, тяжело дышала. Грудь у меня была открыта, на сердце лежал холодный мокрый компресс.

Наташа положила руку мне на лоб.

– Прошло, все прошло? – спросила она звенящим высоким голосом. – Что я наделала! Ну, как теперь?

– Хорошо... Немного болит сердце. У меня это бывает.

– И все я, я, я... Простите меня. Я не знала. Я сделала вам очень больно.

В этот же вечер я написал письмо Хатидже:

*«C'est un emploi difficile d'être fiancée d'un poète»<sup>3</sup>.*

Я должен рассказать вам все. Меня сорвало с якоря. Все, что было во мне постоянного, растаяло, как снег. Я в холодном Архангельске с чудесной девушкой. Ее зовут Наташа. Она любит меня, она перепутала все мои пути, смешала все карты и сказала мне о любви так просто. Я не могу и не смею бороться с этим. Я люблю вас и ее, и я ничего не понимаю в

---

<sup>3</sup> Это трудное занятие – быть невестой поэта (франц.).

этой жизни. Это признание стоит мне многого. Я не знал и до сих пор не знаю себя. Все понятия о добре и зле смешались. Я не умею и не могу о них разобраться. Есть только одно – сегодняшний день, который больше никогда не придет, и жизнь прекрасная, мучительная и в конце концов непонятная».

Над Двиной поблескивало небо, холодное и прозрачное, как тонкий лед. Отсвечивали деревянные тротуары.

Мы шли с Наташей и норвежцем-капитаном Сигурдом Торбьерсеном среди запаха ворвани, пустых бочек и сырых сосновых палуб, слушая тихий, словно спросонья, перезвон стареньких колоколен. У набережной стоял черной громадой «Глиттертинд» – угольщик Торбьерсена. Из трубы камбуза вился легкий дымок. Матрос в рыжей фуфайке с гладко выскобленным, покрасневшим от ветра лицом вынул изо рта трубку, что-то хрипло крикнул Торбьерсену и протянул Наташе заскорузлую руку.

В каюте было тепло, топилась чугунная печка, и толстые стекла двойных иллюминаторов густо запотели. Мы пили кофе за некрашеным столом. Косое солнце било в лицо дымными стрелами. Торбьерсен рассказывал Наташе о ловле трески на Ньюфаундлендской отмели, о Бергене, о фиордах, о своем маленьком домике с желтыми жалюзи. Когда капитан возвращается из плавания, его сын подымает на флагштоке над домом норвежский флаг.

Потом Торбьерсен порылся в ящике с книгами, вытащил

синий томик и протянул его Наташе. На заглавном листе я прочел:

«Knut Hamsun. Pan».

Торбьерсен сел к столу и четким прямым почерком, словно он вписывал широту и долготу в судовой журнал, написал на книге по-французски: «Натали Семеновой от капитана „Глиттертинда“ Сигурда Торбьерсена из Бергена на память о встрече».

# Лихорадка

В Москву мы возвращались ночью. Меня знобило, я лежал на верхней полке, укрывшись пальто. Из окна тянуло холодом, болело сердце, из головы не выходили строки Тютчева:

О вещая душа моя! О сердце, полное тревоги,  
О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!...

Наташа тихо спала внизу. Один только раз она вскочила и потрогала рукой мой лоб. Я закрыл глаза, притворился спящим, потом забылся, и хотелось так лежать дни, недели, качаться в вагоне, чтобы вечно неслись за окнами белые крупные звезды, чтобы глухо гремел по просекам раскачавшийся поезд.

Но пришла Москва, как возмездие, – серая, низенькая. Крапал дождь, стучал по крышам вагонов. Паровоз уперся в тупик. Заскрежетал первый трамвай и провел в душе тупую борозду.

– Мне нездоровится, – сказал я Наташе на вокзале. – Я позвоню вам вечером. Голова трещит, как жестянка, от этих проклятых мостовых.

– Зачем так говорить? – сказала с легкой укоризной Наташа и внимательно посмотрела мне в глаза. – Ну зачем?

Она грустно улыбнулась. Я помог ей сесть на извозчика, поцеловал руку. Извозчик отъехал, она оглянулась, и мне показалось, что на глазах у нее слезы.

У себя в комнате я с раздражением открыл окна, вымылся холодной водой и лег. Все тело разламывало, было сухо и приятно. Всю ночь я не спал, забылся только к утру.

Днем мне принесли телеграмму от Хатидже. Я распечатал ее и читал медленно, слово за словом.

«Получила письмо из Архангельска. Тяжело, но спокойно. Кроме тебя, никого нет. Посылаю письмо. Хатидже».

«Кроме тебя, никого нет...» Первое «ты», печальное, какое-то материнское «ты». Сразу стало все ясно – над всей моей жизнью пройдет эта любовь, как материнская ласка, когда жизни не жаль, даже любовь к другой кажется не страшной, и ее встречают понимающей улыбкой.

«Она не любит меня, – подумал я о Хатидже. – Это что-то большее. Ему нет имени на человеческом языке».

Я оторвал клочок бумаги от телеграммы и, стараясь твердо держать карандаш, написал:

«На днях еду к тебе. Жди. Не хочу писать, все расскажу».

Я встал и принял хину. С шестого этажа был виден воспаленный закат, самое страшное время для лихорадящих. Сырость пропитывала тело, хотелось горячего чаю, теплых, проветренных комнат.

На странице раскрытой книги, забытой на столе, я медленно прочел:

«Сумерки Тонкина, такие тяжелые вследствие рассеянных солнечных лучей и горячего дождя, нависли какой-то тайной, тайной азиатской – тревожной и злой».

«Что за чепуха! – подумал я. – Почему „вследствие“ и почему „какой-то“. Чья это книга?»

Я посмотрел на обложку – Клод Фаррер, потом снова прочел, но уже по-своему:

«Сумерки Тонкина, такие тяжелые из-за рассеянных солнечных лучей и горячего дождя, нависли азиатской тайной – тревожной и злой».

Нет, не то. Я сел к столу и наново написал всю фразу:

«Сумерки Тонкина – горячий дождь – банный воздух – приглушенное солнце – тревожные китайские кварталы – дрожащее от страха малокровное сердце Фаррера».

Когда у меня лихорадка, я часами могу думать о сущих пустяках, возиться с копеечными мыслями, отыскивать в них их первобытную значительность и чистоту. Так было и в этот раз.

Нет. Нет. Он пишет без красок. Так нельзя. Я второй раз переписал всю фразу:

«Тяжелые сумерки Тонкина – горячий дождь над зеленой рекой – чад китайских кварталов – апельсинное солнце – лихорадка – дрожащее от тревоги малокровное сердце Фаррера».

Довольно возиться с ерундой! Вот она откуда лихорадка – из Тонкина, из смертоносной, как яд, мокрой Азии. Врачи

недаром говорят, что лихорадка у меня азиатская.

Я вышел на улицу. «Какой я дурак, – подумал я о себе. – Фаррер пишет о сумерках. Какие же в сумерках краски! Нужен горячий дождь, просыхающие мостовые, серая широкая река, огни, обширные, как вселенная, китайские кварталы, слепленные из дикой глины, бумаги, бамбука, жести. Нужны желтые люди, кубовые ткани и кубовое небо. Вот и все».

Я дошел до Страстной площади. Розовые стены монастыря светили теплым огнем на Пушкина, озлащали молодые липы. На Тверской стоял весенний гомон, мчались рысаки, шуршали шинами автомобили.

Я зашел к Филиппову, долго пил черный кофе и читал в газетах объявления о ташкентском хлопке, пряже, банкирских конторах. Сбивчивые мысли преследовали меня.

Я прочел объявление о цейлонском чае. Зеленые города Цейлона.

Когда я был мальчишкой, в наш порт пришел серый пароход из Индии. Он стал на рейде и поднял желтый флаг, – на борту были больные. С парохода свезли трупы матроса и китайца-поваренка. Они умерли от желтой лихорадки. Я побежал на пристань, но боялся смотреть на них. Я все смотрел на воду, где косыми колоннами просвечивал зеленый солнечный свет.

«Вот она – лихорадка», – подумал я и вспомнил, что в детстве я все лодки из дощечек, и пароходы, и людей, и небо красил в желтый цвет. Может быть, потому, что вырос я в

каменистых желтых местах и часто ездил к бабушке в заросшие бурьяном желтые степи, где пыль со шляхов ветер подымал до самого неба.

От ветра хлопали ставни, сыпалась с крыш черепица, в саду сгорала зелень, солнце светило через серое сито, губы лопались и покрывались коркой.

Я боялся воробьиных ночей, когда небо струилось молниями, будто черные птицы били в испуге сотнями фосфорящихся крыльев. Зарницы ручьями низвергались на землю, воробьи падали в пыль, открывали клювы, пищали и умирали от жажды. Воробьиная ночь проносилась без капли дождя. Утром помятая степь дымила гарью и часто колотилось сердце. Колонисты качали головами: «суховей». Зерно высыпалось из колосьев, посвистывали суслики, а я весь день качал из колодца солоноватую воду и поливал сад.

Я ушел от Филиппова. Начался второй приступ лихорадки – бросало в жар, туманилось в глазах.

О чем я думаю? Все это не то. Мне надо что-то решить, ехать туда, на юг, к Хатидже.

Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе – крышка. Вот так скитаться и всюду – в поездах, на пароходах, улицах, в полудни и на рассветах – думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя.

Я остановился. Надо зайти куда-нибудь в кафе и обдумать это.



Я зашел. Это было на Ямской, около Брестского вокзала. Стояли голубые сумерки, пахло цветочными рынками.

«Здесь – мой дом, первое пристанище в чужом городе, – подумал я, садясь за столик. – Кафе – это сборище тех, кому тесно и уныло дома. Это – Гарибальди и Сташевский, Хатидже и я, Роговин – все люди, связанные жизнью в один узел».

Одно вино напоминает о Риме времен Гоголя, другое – о синих гусарах Наполеона, медовых рейнских городах, гитарах и жженке, третье – о темном море, где крепко ругаются матросы и от ливней чернеют паруса.

Разболелась голова. Я встал и пошел домой.

«Эх, если бы сейчас осень! – подумал я с укором. – Я бы снова начал писать». Осенью крепнут от холодного воздуха мысли, уверенно стучит сердце. Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, вся страна стоит, как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью. Сменяются дни, и кажется – заденешь, и день зазвенит, как стекло, и журавли снимутся на зимовку в те страны, имени которых не знаешь.

# Лодыри

Прошла неделя. Я получил письмо от Хатидже. Письмо было из Севастополя.

«После твоего письма мне трудно было оставаться на старых местах. Я совершенно спокойна. Во всем огромном мире, среди миллионов людей – мы одни. Кроме тебя, у меня никого нет, и я знаю, что ты вернешься. Очевидно, все, что ты делаешь, – нужно. В твоей жизни будет много потрясений, любви, горя, ты должен пройти через все, но всегда, когда ты захочешь, я буду около тебя.

Я жду тебя и много работаю. Но стоит только подумать, что ты не приедешь, и этот прекрасный город кажется мне ловушкой!»

Всю неделю я не выходил. Не отвечал на стук в дверь, никого не хотел видеть.

Вечером пришел Роговин. Он долго стучал, потом заглянул в замочную скважину.

– Ключом заперто изнутри, – сказал он вслух самому себе и снова стал колотить в дверь.

Я встал и открыл.

– Ну и здорово вы спите. Накурили черт знает как. Откройте окна и бросьте киснуть. Едем сейчас в Братовщину, к Семенову. Он туда переехал на дачу, сегодня справляет новоселье.

Я согласился. Мимо окон трамвая неслись, шумя листвой, свежие бульвары, узкая лента Тверской, черный Пушкин. В пустом дачном вагоне кондуктора светили нам в глаза фонарями, поезд гремел по Сокольнической роще, свистел на закруглениях.

– Вы знаете, – сказал Роговин, – Наташа велела вас привезти.

– Ну и что же?

– Так... Ничего. Ей-богу, так нельзя. Вы заперлись, как зверь. Что вы, боитесь людей? У вас будет бледная немочь, как у офицерской свояченицы.

– Я работаю.

– Так работать нельзя.

Он встал, открыл окно и сказал:

– Я бы хотел о многом написать, да вот – не получается. Семенов пишет о художниках, иконах, кустарных кружевах, а у самого тоска – настоящей книги хочется. Не умеем мы, понимаете, сжать руку в кулак, ударить – раз – и готово! Слоняемся вокруг настоящей темы, около настоящих слов. Лодыри мы. Сам пишешь, а на уме мысль – как бы увильнуть. Конечно, ни черта не выходит. Куда там писать, если побриться лень. Когда пишешь, нужна чистота. Нужно, чтобы было тихо в комнате, свежо, чтобы квартирная хозяйка не лезла с разговорами, чтобы не воняло из кухни, чтобы были чистые и обязательно холодные руки. Понимаете? Надо быть выбритым и чувствовать свои бицепсы. Надо быть крепким,

как циркач, как после купанья в море. Вот. А у меня этого нет. Чтобы из русского человека вышел хороший писатель, нужно привить ему английский спортсменский дух, погонять его по морозу, подвести под опасность раз двадцать, пока не привыкнет, бить его боксом, пока из него не выбьешь весь студень. Вот!

Он еще долго говорил о том, как надо писать.

– Семенов, к примеру. Голова всегда болит, в лице – ни кровинки, вместо крови у него лампадное масло. На писательство он смотрит как на священнодействие. Чепуха. Кому он нужен, этот византийский туман?

Он надел кепку, встал и заговорил возбужденно:

– Так же нельзя, поймите. Писать – как ледяной водой обливаться. Первое время жутко, потом привыкнешь.

– Почему же вы так не пишете?

– Я лодырь. Если бы само писалось, было бы здорово. Встал утром – лежит на столе свеженькая глава, пришел вечером – опять свеженькая глава. А я бы только давал указания – надо так, мол, и так. А вот еще одна русская манера писать, – говорил он, когда мы садились в Братовщине на единственного извозчика, – писать на клочках, потом все растеривать.

– Вези, брат, вези, – сказал он извозчику. – Успеешь поторговаться. И это, – опять обратился он ко мне, – в нищей юродивой стране, где каждую мысль надо беречь, как крупичу золота.

В лесу было черно, фыркала лошадь. За деревьями проревел и промчался огненной струей окон сибирский экспресс.

# Река Серебрянка

Около дачи при фонарях играли в крокет. Женский голос крикнул: «Игорь, не загоняй шары!» Над соснами стояли серебряные звезды.

Встретил нас крошечный кадет с фонарем – Игорь.

– Мой крестник, – сказал Роговин.

Игорь шаркнул ногой, голова у него торчала ежом, в глазах был восторг.

– Я разбойник! – крикнул он и побежал на площадку. – Мы с Наташей разбойники. Всех о кол убиваем.

– Как вам не совестно, – сказала мне Наташа. – Вы ведете себя, как старый бобыль, – прокурились насквозь, прячетесь, – нехорошо. Знакомьтесь. Нину вы знаете. А это ваш брат – журналист, редактор «Синего журнала» – Любимов. Это тоже журналист, вы, кажется, знакомы, Серединский, а это мой крестный сын – Игорь. Вы ему расскажите про море, только пострашней и поинтересней. Миша сидит на даче, пишет. Ну, довольно. Сдавайтесь. Идем на веранду.

На веранде сели за чай, пришел Семенов. Бабочки бились около свечей, падали на стол.

– Первый раз в жизни проигрываю, – сказал Любимов, – Всегда иду ва-банк, и всегда везет, даже когда ставлю собственную голову.

– Когда же это ты ставил? – спросил Серединский.

– В Питере два года назад.

– Питер весьма неромантический город, – сказал Серединский, – там тесно таким авантюристам, как ты.

– Дело было так. Приехал немец-укротитель Баер с трупной молодых африканских львов. Я пошел его интервьюировать. Баер говорит – львы злые страшно, плохо прирученные, молодые, работать с ними трудно. Потом пошли рассказы – будто его дедушку и бабушку, отца и мать и всех братьев и сестер разорвали львы. Когда лев бросается, стрелять нельзя – можно попасть в публику. Поэтому у укротителя в револьвере только одна боевая пуля, остальные заряды холостые. Он стреляет холостыми, если же видит, что не помогает, видит, что крышка, то последнюю боевую пулю – в себя. Баер показал мне револьвер, я взял его, повертел и спрятал в карман. «В чем дело?» – «Дело в том, говорю, что я не укротитель, но я сойду в клетку с вашими лопоухими львами и просижу пять минут». Баер обалдел. Я вышел, привел фотографа, дал Баеру расписку, что в случае смерти вся вина на мне, вошел в клетку и сел на стул.

– Ну и что? – спросил Игорь.

– Что? Ничего. Львы подвинулись, высунули языки и смотрели на меня с удивлением.

– И ты просидел все пять минут? – спросил Середиинский.

– Не пять, а семь.

– Почему?

– Потому что дурак фотограф. Он непременно хотел

снять одного льва в профиль, говорит – редкий профиль, а тот все не садился, все анфас и анфас. Да ты что, не веришь? Я тебе завтра карточку покажу.

Игорь захохотал.

– Какой вы врун, Любимов, – сказала Нина.

– Нина Борисовна, – сказал торжественно Любимов, – я не вру. Я на этих львах карьеру сделал. После этого меня пригласили редактировать «Синий журнал».

– Это у вас, – спросила Нина, – был всероссийский конкурс на лучшую гримасу?

– У меня.

– А это у вас, – спросил Роговин, – была фотография картошки с лицом Горемыкина?

– У меня – все у меня. У меня и не это было. У меня была фотография грудного ребенка с окладистой бородой и болонки с ослиными ушами.

Игорь снова захохотал.

– Иди спать, Игорь, – сказал строго Семенов. – Нахохочешься, потом ночью будешь плакать.

Игорь покраснел, шаркнул ногой, сказал «покойной ночи» и ушел в комнату. За дверью он еще раз прыснул.

После чая пошли по узкой дороге к реке Серебрянке.

– «Дул свирепый зунд прямо в Трапезунд», – запел Серединский и вскрикнул:

Ах, мичман молодой



С русой головой  
Покидал красавицу Одессу!

Дальше не знаю. Вот черт! Нет у меня памяти на эти песенки.

– Я знаю, – сказала со смехом Наташа:

Запомни фразу, лихой моряк:  
Любить двух сразу нельзя никак.

– В горелки! – закричал диким голосом Любимов. – Роговин, расставляй всех. Я горю.

Первыми бежали Серединский и Наташа. Серединский бросился в лес, ломал кусты, ухал, кричал, изодрал о ветки лицо.

Потом бежал я с Ниной. Я далеко обогнал ее, она добежала ко мне, задыхаясь упала мне на руки, и сквозь тонкую ткань я почувствовал ее горячее бедро, ее дыхание обдало мне щеку. Подбежала Наташа.

– Нина, я схватила тебя, ты вырвалась. Это неправильно. Ступай гори.

– Я и так вся горю, – сказала Нина. – Довольно. Я не могу больше.

– Ну, сядь на пень и сиди. Отдышись.

Наташа взяла меня за руку, стиснула пальцы так, что хрустнули кости. Я вскрикнул.

– Твердая рука, – сказала она шепотом. – Мальчишеская

слабая рука. Вам больно. Какой же вы моряк после этого?

Я отнял руку.

– Трудно бегать в темноте. Довольно! – крикнул я. – Роговин! Довольно.

– Ну, ладно, – ответил Роговин. – Отставить. Пойдем дальше.

Рука у меня ныла. Я закурил, зажег спичку. Увидел глубокую ранку от ногтя. Из нее сочилась кровь. Я перевязал ранку платком.

Я шел с Семеновым, он говорил мне что-то о Розанове, но я ничего не слышал, отвечал некстати, краснел в темноте. Надо подбить Роговина сейчас же уехать. Кажется, есть двухчасовой поезд.

Около реки сели на берегу. Сосны стояли над самой водой, вода журчала о корни, над лесом мигнула зарница. Все молчали.

– Вы, кажется, поранили руку? – спросила Наташа.

– Да. Я, кажется, запачкал кровью и вас.

– Как кровью?

– Так, очень просто.

– Посмотрим, – сказал Семенов и зажег спичку. – Смотри, Наташа, у тебя вся ладонь в крови. Здорово налетели, – сказал он мне. – Смотрите, весь платок мокрый. Должно быть, напоролись на сучок. Вы не шутите с такими вещами. Надо перевязать как следует.

– Доигрались, – сказал Серединский. – Я себе всю рожу

изодрал. Максимов истекает кровью. Какой дурак играет ночью в горелки?

Наташа подошла ко мне.

– Давайте я перевяжу.

– Не надо, – сказал я резко. – Ради бога, не надо. Почему вы все всполошились? Пустяковая царапина.

Мигнула во все небо зарница, и глухо проворчал гром. В реке тяжело плеснула рыба. Сразу стихло, потемнело.

– Будет дождь. Пойдемте, а то захватит в темноте.

Снова мигнула зарница, явственней прогремел длинный гром, лес зашумел, – подул ветер.

– Роговин, – спросил я, – сейчас нет поезда на Москву?

– Есть.

– Да вы что, с ума сошли? – крикнула Нина. – Ночью под дождем ехать в Москву, да еще с окровавленной рукой.

– Я вас не пушу, – сказал Семенов. – Все ночуют у нас. На даче тесно, мы там оставим Любимова с Игорем и нянюшкой, а сами пойдем на сеновал, там тепло и сухо.

На обратном пути Наташа не сказала ни слова. Роговин шумно дышал, говорил, что слышит запах дождя. Зарницы были зловещи, верхушки сосен шумели, гром гремел над самой головой.

– Хорошо! – крикнул Роговин. – Ночью гроза в лесу. Слышите, как пахнет сосной, вот здорово. «Нас венчали не в церкви, не с попом, не с венцами», – запел он низким тенором.

Упало несколько капель, потом стихло, стало тепло и душно. На даче на веранде Наташа молча перевязала мне руку. Рука распухла, йод прожег ее насквозь. Я промолчал. Наташа подняла на меня холодные темные глаза.

– Вы ждете, чтобы я крикнул?

– Нет... Я думаю, что вы засорили рану.

– Очевидно, ногти не всегда бывают стерильными.

Она отвернулась.

– Как все это нелепо, – сказала она. – Нелепо и неинтересно. Вы болтаете глупости, я тоже; не нужно это. Зачем?

Шел шумный дождь, плескал по лужам у крыльца. Далеко за лесом мигали голубые зарницы.

# Ночная встреча

Семенов перетащил на сеновал ковер, и мы по очереди перебежали под дождем. На сеновале было темно, тепло, над самой головой барабанил дождь. В окно были видны далекий огонь семафора, лес, звезды среди разорванных туч.

Рука набрякла, сильно ныла, хотелось лежать на сене, не вставая, сутки, недели. Дождь полил с новой силой.

Серединский тихо запел:

Мы никогда друг друга не любили  
И разошлись, как в море корабли.

– В затрепанном романсе – и вдруг такой точный образ, – сказал я Семенову. – «Мы разошлись, как в море корабли». Вы знаете, как корабли расходятся ночью? Это очень тоскливо. Вы видите только бледные огни, они проплывают мимо, и неизвестно – кто там, куда они идут. Все долго смотрят, и лица становятся печальнее, строже. Матросы говорят: от ночной встречи заходится сердце. Один капитан рассказал мне чудесную историю о такой вот встрече.

– Расскажите, – попросил Роговин. – Под дождь хорошо слушать.

– Начало простое. Он полюбил. Это не была обычная морская любовь, двухдневная любовь в порту. Она была заму-

жем. По его словам, она была прекрасна.

– Вы понимаете, – говорил он, – я весь дрожал, когда первый раз увидел ее у себя на палубе грузового, засаленного парохода. Мы стояли в Батуме. Мы только что возвратились из Владивостока. Она пришла ко мне и сказала:

– Я узнала, что вы вечером идете в Сухум. Возьмите меня, капитан. До завтрашнего утра нет пароходов, а мне надо попасть в Сухум возможно скорее... Ради бога, возьмите меня. Я заплачу за проезд.

– На грузовых пароходах мы денег не берем, – ответил он. – По вашему лицу я вижу, что вам нужно в Сухум до зарезу. У нас нет кают, но ночью я стою на вахте до самого Сухума и смогу вам предоставить свою койку.

Она смутилась и покраснела.

– Ничего, – ответил он. – Там ключ внутри.

– Капитан, я вовсе не считаю вас... Но мне стыдно занимать вашу койку. Вы уходите в восемь часов, в Сухуме вы будете завтра в полдень, – неужели у вас вахта длится шестнадцать часов.

Теперь покраснеть пришлось капитану. Она знала толк в морских порядках.

– Пустое! – пробормотал он. – Я рад уступить вам каюту. Даже больше, – я счастлив, что эта чертова конура хоть раз в жизни пригодится для молодой женщины.

Он понял, что сказал пошлость, опять покраснел и замолчал.

Через час она приехала на пароход. Кроме маленького чемодана, у нее ничего не было. Из осторожных расспросов выяснилось, что муж ее – инженер, сейчас он в Сухуме. Боцман Гнедюк говорил матросам шепотом: «Ну, прямо королева африканская, прямо королева». Кочегары вылезли из машины и, черные как черти, смотрели на нее. Помощник Ермаленко побледнел от потрясения и пошел в каюту выпить водки.

– Понимаете, – говорил капитан, – было такое чувство, будто в преисподнюю спустилась Элеонора Дузе (он ее видел однажды в Одессе).

Вышли из Батума. За Зеленым Мысом упала ночь, на море был штиль, – гудела машина, команда залезла в кубрик. В это время на мостик поднялась она.

– Можно мне побыть здесь? – спросила она капитана.

– Пожалуйста.

– Я вам не помешаю?

– Нет, что вы! Видите, – спокойно, как в комнате.

Она долго молчала. Потом сказала:

– Вы не сердитесь на меня, но я вас обманула. Мне захотелось проехать до Сухума на грузовом пароходе, чтобы быть одной, никого не видеть. Это каприз, и я очень недостойно солгала вам.

– Но вы и здесь не одна.

– Вы не в счет, – ответила она. – Я угадала, что вы идете в Сухум, от вас же, – вы сказали об этом пароходному аген-

ту в кафе. Я сидела в тени за столиком, услышала и подумала: «Вот капитан с открытым лицом, он возьмет меня до Сухума, он, должно быть, застенчивый человек и не откажет мне». Я оказалась права.

Они долго молчали.

– Два румба на восток, – сказал капитан штурвальному.

– Есть! Два румба на восток.

– Так держать!

– Есть! Так держать!

Потом, уступая осторожным, но настойчивым расспросам, он рассказал ей свою жизнь. Гардемарином его выгнали из морского корпуса за пощечину офицеру. Он прошел тяжелую школу: плавал юнгой на греческих дрянных катерах, матросом на русских и французских парусниках, потом офицером на английском угольщике, где капитаном был моряк-писатель Стюарт, приохотивший его к книгам. Он читал запоем, изучал Азию и даже написал книгу об Индо-Китае – нечто среднее между руководством для плавания у его берегов и очерками о быте, тайфунах, контрабанде, малайцах и опиуме.

– Вы странный моряк, – сказала она. – Вы соединили две лучшие профессии в мире – морскую и писательскую. Скажите, вы любили кого-нибудь?

– Кажется, нет, – ответил он и смешался. – Все время, знаете, плаваешь, женщин видишь только на берегу.

– Вам сам бог велел. Вы холостой, всегда в одиночестве. А



вот я окружена мужчинами, замужем, а тоже еще не любила.

Они проговорили всю ночь. Из ее слов он понял, что она одинока, далека от мужа. Ему казалось, что теплота ее слов, низкий голос прикасаются к нему, как легкий мех. Она ушла в каюту только перед Сухумом.

В Сухуме стали на якорь. Он помог ей спуститься в шлюпку.

Шла зеленая, веселая зыбь. Белый город, пальмы и горы качались над шумным рейдом.

– Я хочу вас увидеть еще, – сказала она, прощаясь.

Через час отошли из Сухума. Он вошел в свою каюту. Там стоял свежий, неуловимый запах духов, подушка на койке была слегка примята, – она спала на ней. На столе на перевернутой морской карте было написано:

«Спасибо, капитан. Мне очень не хочется сходить в Сухуме. Я бы плавала с вами год-два, потому что у вас открытая душа, с вами я говорила, как с близким. Вы – чудесный товарищ. Прощайте».

Получить такую записку, когда знаешь, что любишь, любишь единственно, неизлечимо, – удар. У него мелькнула мысль – повернуть пароход и идти обратно в Сухум, но он переломил себя. Из Одессы пароход пошел снова в Батум. Капитан ликовал. Но около Тараханкута была ночная встреча, мимо прошел, сияя огнями, «Поллукс» – из Батума в Одессу, и у капитана сжалось сердце. Иногда ночные встречи рождают плохие предчувствия. Он следил за огнями, по-

ка они не ушли за край земли, в морскую мглу.

В Сухуме он ее не нашел. В Батуме тоже. Из Батума он пошел во Владивосток, оттуда в Мариуполь и только через год опять попал в Одессу.

В Одессе в управлении пароходства ему передали пачку писем. Среди них он нашел узкий конверт со знакомым почерком. Он заперся в каюте и прочел письмо. Солнце зашипело и погасло в море, пол каюты качался, как в шторм.

Она писала:

«Я порвала с мужем. Через два дня после вашего ухода из Сухума я села на „Поллукс“ и бросилась в Одессу за вами. Что так случится – вы могли понять уже тогда на мостике. Эта любовь пришла, как шквал, сразу, а если сразу, – значит, на всю жизнь. Я не могу рассказать вам даже тысячной доли того, что я передумала о вас. Я боялась писать вам. Я не знаю – любите ли вы меня. Если да, то ответьте мне в Москву (был приписан адрес). Я буду ждать месяц, два месяца... нет – три... Если нет – не отвечайте. Какая радость у меня на сердце, если бы вы знали. Я свободна, свободна, свободна, и я люблю вас – моего милого застенчивого капитана».

Он бросился в Москву – ее там не было. Он узнал, что она ждала полгода и уехала в Америку, к сестре. Он добился рейса в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он оставил пароход, объехал всю страну, оттуда вернулся в Батум. По пути в Батум во время ночных встреч с ним бывали обмороки – ему казалось, что она по-прежнему ищет его и они будут расходиться

всю жизнь. Я познакомился с ним в Батуме. Он приходил на пристань к каждому пароходу и часто бывал пьян...

– Это все? – спросила Наташа.

– Все.

– Жаль... А вы не знаете, что теперь с этим капитаном?

– В прошлом году он бросился с «Трувора» в море между Керчью и Феодосией во время ночной встречи. Его не успели подобрать, и он утонул.

Все молчали. О крышу постукивал дождь.

– Эх, – сказал Роговин. – Растревожили вы меня. А тут еще это ненастье. Вот тоска.

Наташа взяла мою больную руку, потрогала бинт – он был сухой – и сказала:

– Какая я дура, дура, дура... Как вы должны меня ненавидеть.

– Чудно, – сказал после долгого молчания Семенов. – Дождь идет такой московский, ручной – шумит себе и шумит. Кругом Россия – и вдруг такой рассказ. Не наш у вас темперамент, Максимов, чертовщиной от вас несет.

# Вечный Город

Началось душное лето. Дни стояли серые от зноя, вечера были багровы и туманны. Я решил ехать к морю, к Хатидже и взял в редакции отпуск.

За день до отъезда ко мне пришел Семенов. Мы поехали с ним вечером в Нескучный сад. После города здесь было свежо, в Москву возвращаться не хотелось, и мы провели ночь в саду, в Елисаветинском павильоне, спрятавшись от сторожей. Над Москвой горело зарево, на реке свистели катера, был слышен смех женщин, скрип уключин. Иногда по Окружному мосту гремел поезд. Вечер был влажный, в зеленой черноте светились звезды.

Мы уснули в широких нишах павильона и проснулись на рассвете. Чистая, как жидкое зеркало, спала река. Выкупались и пошли вдоль берега к Крымскому мосту.

– Ничем нельзя убить Москву, – сказал мне по дороге Семенов. – Уничтожить ее сущность, ее душу – нельзя. Тысячи потрясений ничего с ней не сделают. Каждое новое потрясение наложит на облик Москвы еще одну черту, но не убьет ее. Так и будут жить рядом Кремль и подземные железные дороги, Борис Годунов и Станиславский, вокзалы и старые липы Замоскворечья, футуристы и общества любителей соловьиного пения. Москва – подобно Риму и Парижу – вечный город. Она переживет поколения, эпохи и идеи, как Па-

риж пережил величайшие ломки, казни и подъемы. Около статуи Дантона я всегда вспоминал Мими и Флобера, всегда думал о вечном прибое и отливе творчества в стенах Парижа. Вы представьте – собор Богоматери и восстание коммунаров, Гюго и Пикассо. То же и с Москвой. Сквозь пожары и революции, великие войны и колокольный звон, бунты и покаяния, сквозь море народных движений, приниженность и скуку – она пройдет, как монолит, и сохранит свой облик – во сто крат более прекрасный. На перевале веков, культур он станет особенно четок – этот облик Москвы, вечного города, которому будет молиться вся Россия, все человечество. Мы идем к небывалой эпохе возрождения.

Я сказал, что меня с давних пор тревожит мысль о гибели европейской культуры. Прекратится творчество. Не о чем будет писать, никто не сможет сказать новое и весомое слово. Погаснут фонари, опустеют дороги, стекла в домах будут лопаться от стужи, и только страх за свою, теперь уже ничемную, жизнь будет владеть лучшими умами. Выживет ли тогда Москва?

– Это абсурд, – сказал убежденно Семенов. – Этого не может быть.

Я пояснил свою мысль. Умирают не только люди, но и народы и все человечество. Это – биологический закон. Человечество может дряхлеть, терять молодость, впадать в младенчество, у него перестанет свертываться кровь. Я не могу себе сейчас представить те чудовищные формы, в которые

выльется это умирание, но мне кажется, что скоро человечество свихнется. Легенды о кончине мира родились именно тогда, когда гибли великие культуры Эллады, Рима, чудесные статуи и медно звенящие стихи.

– Слушайте, – сказал Семенов. – Вам надо полечиться. Вы уже договорились до конца мира. Или вы много пьете, или переутомились. Купайтесь почаще.

– Дело в том, что завтра я могу развить перед вами совершенно противоположные взгляды.

– Чудак, – протянул Семенов. – Вам, очевидно, нравится самый ход мыслей, а не истина. Вы думаете образами и никогда не стараетесь оправдать их логикой. Что получилось бы, если бы Кант, например, решил свои отвлеченные мысли передать в форме романа? Редкая чепуха!

# Обручение

Вечером, накануне отъезда, я зашел к Семенову попрощаться. Дома никого не было.

Старуха нянька Никитишна посмотрела на меня ласково поверх очков и сказала:

– Соколик мой. Давно тебя не видала. Я и то Наташу спрашиваю: чтой-то матросик наш глаз не кажет?

– Почему вы меня матросом прозвали?

– Знак у тебя этот на руке, якорь. Племянник у меня в городе Кронштадте служил, – вот у него такой знак был на груди. Вместо креста так у него якорь, у безбожника. Ну, посиди.

Я прошел в кабинет Семенова и лег на диван. В громадном небе горела одна только звезда, закат едва был виден за Кремлем. Я наугад взял книгу с полки, открыл ее и прочел:

Когда шуршат в овраге лопухи  
И никнет гроздь рябины желто-красной,  
Слагаю я веселые стихи  
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я вспомнил, что завтра еду в Севастополь, к морю, к Хатидже. Вспомнил ночь в белом городе, когда был болен Сташевский, и Москва показалась мне сном. Легкий ветер бродил по комнате, в церквах тихо звонили.

Проснулся я оттого, что кто-то упорно смотрел мне в лицо. Перед диваном на коленях стояла Наташа. Она оперлась подбородком на руки, лица ее в темноте не было видно.

– Это правда, что вы завтра уезжаете? – спросила она и встала.

– Да, правда. Когда вы пришли?

– Недавно. Я открыла дверь своим ключом, вошла и увидела вас. Я даже испугалась.

– А где Семенов?

– На даче. Он приедет завтра.

Она подошла к окну и села на подоконник. Я встал.

– Куда вы едете?

– В Севастополь.

– Значит, туда, к ней. Нет, нет, я что-то не то говорю. Но зачем так рано, сейчас только конец мая...

Я хотел зажечь лампу.

– Не надо, – резко сказала она.

Я смотрел на нее в квадрате окна, и как тогда, в театре, от близости женской молодости у меня закружилась голова.

– Максимов, – сказала Наташа, и я вздрогнул, так глух был ее голос. – Максимов, родной, вы всегда так мучаете людей? Даже в Архангельске я не сказала вам всего. Теперь знайте...

Она опять замолкла. Потом рассмеялась:

– Как вы рассказывали, помните – от ночных встреч заходит сердце. Матросы умеют говорить лучше нас. Я натворила много глупостей. Есть вещи, которые надо выжечь, как



проказу, а вот – не можем, цепляемся за них, калечим жизнь.

– Какие вещи?

– Гордость, например. Правда, достойное чувство? Или застенчивость. Или обиду. Да мало ли дурацких чувств? Вы окончили книгу?

– Окончил.

– Эту книгу, – медленно и спокойно сказала Наташа, – во всем мире – вы слышите? – во всем мире должна была бы знать только я. Больше никто. Никто.

– Почему?

– Потому что она моя! – крикнула Наташа и встала. – Потому что вы прекрасно знаете все, но вы боитесь. Может быть, то, что идет на нас, так громадно, что его надо бояться; может быть, вы правы, но я этого не хочу знать.

Она села на диван, заплакала, потом пересилила себя и долго сидела молча.

– Никто не видел моих слез, кроме вас и старухи няньки. Никто, даже брат. Трудно угадывать вас. С вами у меня пропадает всякая гордость. Это такая боль, будто бы вырывают душу. Зачем вы такой? Ну зачем? Сколько дней я думала о той, о девушке у моря, о том, что было там. Вы любите ее, Максимов?

Я промолчал.

– Я это знаю. Ей вы отдали все, а для меня у вас не осталось даже слов. Ну скажите же что-нибудь. Скажите, что это пустяковый случай, что я – взбалмошная девчонка и мне ни-

когда не надо встречаться с вами. Скажите, Максимов, родной, и уйдите. Может быть, я переживу все это.

– Я не могу и не хочу сказать «нет», – ответил я и взял ее за руку. – Есть вы, и есть она. Вдали от нее я медленно умираю от духовного истощения, от странного одиночества. В жизни нас двое. Мы крепко держим друг друга за руки. А вы... – я остановился. – Вы смяли душу, от вас кружится голова. Когда я вижу вас, у меня замирает сердце. Кровь отливает от лица, и ту боль, которую вы причиняете мне, я ношу в себе, как незалечимую рану...

– Наташа, – сказал я тихо и так же, как тогда в Архангельске, почувствовал, что что-то оборвалось в душе далеким криком. – До сих пор вы не знаете, люблю ли я вас. Я люблю подсознательно. Всю жизнь я буду тосковать по вас. Но жить с вами рядом, делить жизнь во всей ее повседневности мы никогда не будем.

– Почему? – шепотом спросила Наташа.

– Тогда я убью себя. Вы возьмете меня всего, все мои силы. Я не буду таким, каким я стал теперь. Такие люди, как вы и я, не должны жить рядом.

Она крепко обняла меня за плечи, притянула к себе. Я чувствовал ее судорожное дыхание.

– Неужели это может быть, неужели правда? – Она громко засмеялась. – Значит, пришло настоящее, как у меня. Мы оба знали это давно. – Она наклонилась и поцеловала меня в губы.

Ночь рванулась, понеслась далеким гулом.

– Только вам, – прошептала она, и глаза ее блеснули от радости, – только вам я могу отдать все, себя, свою жизнь. Как это нестерпимо хорошо. Я хочу, чтобы у меня был ребенок от вас, маленький мальчишка. Когда вы уйдете от меня, я буду знать, что это ваш и мой сын, что в нем мы оба, и мне будет легче.

В тумане и тишине встало над Москвой это первое утро. Близость женщины была мучительна, терпка, прекрасна.

На рассвете мы вышли на Пятницкую. Мостовые потемнели от росы. На Балчуге я нанял машину. Шофер дремал, надвинув кепку на нос.

– На Арбат, а оттуда в Царицыно, – сказал я ему. – Мы должны быть там к севастопольскому поезду.

С Арбата машина мягко понеслась к мостам вдоль умытых бульваров, трубя на безлюдных перекрестках. Белым золотом пронесся Кремль, умчалась молочная река. Болото с острым запахом овощей, дворы Замоскворечья, виадук, трактиры. Серпуховское шоссе. В полях ударило ветром.

В Царицыне поезд стоял минуту. Наташа обняла меня, глаза у нее были полны слез, она не могла сказать ни слова. Она стояла на платформе, глядела вслед поезду, вся в солнце, в сером английском плаще.

Я уснул без снов и проснулся только в Орле.

## Южный поезд

За Харьковом пошли степи. В душном вагоне бегали зайчики от зеркал, золотыми столбами ходила пыль.

Утром поезд долго стоял в Синельникове. В просторном зале было светло и скучно, высохли от зноя искусственные пальмы, запылились графины с желтоватой водой.

Цокотали говорливые бабы с молоком, вишнями, сайками. Бегали с чайниками пассажиры третьего класса.

В вагоне проводник спросил меня:

– Не вы будете Максимов?

– Я.

– Телеграмма вам из Москвы. Послали вдогонку за поездом.

Я взял телеграмму, влез на верхнюю полку и распечатал. Телеграмма была от Наташи.

«В конце июня буду Евпатории вместе своими. Сообщите ваш крымский адрес. Приеду. Страшно одиноко. Наташа».

«Что со мной? Так все запуталось, я ничего не понимаю, надо обдумать, а думать не хочется, и на душе такая неожиданная легкость. Жизнь связала нас троих неразрывно, крепко... А может быть, двоих?»

Я высунулся в окно. Поезд мчался, звеня сцеплениями, шумели листвой переезды.

Я вышел на площадку, открыл дверь и долго смотрел на

грохочущую степь. Поезд нес запыленные вагоны к синему утру, прибоям, к воде, зеленой, как спелый виноград. Я почему-то поверил, что этим зрелым, блистающим летом меня ждет незаслуженное счастье.

В Симферополе кто-то потянул меня за ногу.

– Винклер! Родной! Откуда?

– Встречать тебя приехал. Хатидже послала. Я тоже сейчас живу в Севастополе. Ну, вставай. В Бахчисарае слезем.

– Почему в Бахчисарае?

– Там Хатидже ждет. Да ты, брат, совсем стал взрослый, возмужал. Ну, рассказывай.

Он улыбнулся. На темном лице сверкнули яркие зубы. Я вспомнил, что в гимназии мы звали его «потомок Пушкина».

# Бахчисарай

В Бахчисарае на вокзале Хатидже не было. Мы взяли извозчика и поехали в город. Солнце накалило шоссе. У оград сидели и гнусаво молились нищие – татары в цветном тряпье.

Бахчисарай лежал, как грудa черепицы, в желтом ущелье, в садах. Сочилась вода в фонтанах, и небо опрокинулось черной чашей.

Около городской стены, в кривой улочке, среди пыльного плюща я увидел Хатидже. Она быстро шла к вокзалу, вся в белом. Ее волосы золотились под солнцем, лицо посмуглело и темно-зеленые радостные были глаза. Извозчик остановился. Хатидже улыбнулась и протянула мне руку.

– Я проспала, – сказала она, и голос ее показался мне совсем новым и низким. – Хозяйка обещала разбудить меня и забыла. Мне захотелось встретить тебя в Бахчисарае. Тут так много солнца, прямо слепнешь от света, и нет людей. Едем в гостиницу.

Весь день мы были вместе. Я рассказал ей все о Москве, кроме последней ночи. Она на минуту стала серьезной, но потом взглянула на меня и улыбнулась.

В пустой деревянной гостинице я умылся во дворе под холодным фонтаном. Солнце жгло мою голову, вода струилась, в каплях синело небо. С улицы раздавался протяжный вопль

продавца.

Третьего дня я был на Пятницкой, три недели назад – в Архангельске, сейчас – в Бахчисарае, среди солнца, гор, воды. Я ощутил внятную радость скитаний.

Из гостиницы мы пошли в кофейню. Балкон ее висел над обрывом. По скатертям дул теплый ветер, внизу на плоских крышах ходили козы.

Хозяин – очень черный и, очевидно, храбрый человек – пил кофе маленькими глотками и беседовал с двумя библейскими старцами. Ленивые торговцы заглядывали в двери, скалили зубы, и пот блестел на их коричневых морщинах. От мокрого пола пахло весной. Дрожащий воздух подымался ввысь над ущельем, и сонный дым папирос был крепок до синевы.

Сны и радость бродили по узеньким улицам и балконам кофейен, как неторопливые, седые водоносы. Храпели на солнце мохнатые псы, и крошечный мальчик притащил хозяину на руках молодого барашка.

За нами, не отставая, бродил равнодушный проводник-татарин и приставал, обещая показать Чуфут-Кале и пушкинский фонтан слез. Он уныло сидел на пороге кофейни, терпеливо дожидался, курил и поплевывал на мостовую.

Меня клонило в сон от неба, от жаркого отблеска гор, от монотонной воркотни воды.

– Наши все разбрелись, – сказал мне Винклер. – Алексей уехал в Киев, Сташевский – в Юзовку, он устроился прак-

тикантом на заводе. Гарибальди умер. Я, как видишь, здесь. Должно быть, никогда больше не соберемся вместе. Вот и Хатидже променяла нас на Севастополь.

Днем мы ездили в Чуфут-Кале. В твердой траве прятались коричневые ящерицы. Среди камней и диких лиловых цветов паслись овцы. Старик пастух стоял, опершись на посох, и внимательно смотрел на нас. На бесплодных горах, залитых светом и ветром, были только мы, пастух, овцы и полуденная горная тишина.

Среди развалин мы сели отдохнуть. Были видны Яйла и синий туман над морем.

– Вот древность, – сказал Винклер, бросая с обрыва камни. – Каждый куст можжевельника – и тот почти тысячелетний.

Хатидже поймала маленькую ящерицу и держала ее на ладони. Ящерица дрожала и судорожно высывала тонкий язычок.

– Воздух древности, – сказал Винклер, лежа и глядя на небо. – Я не люблю истории, копилки фактов. В гимназии я по истории не вылезал из троек. Прошлое надо почувствовать. Ни горы, ни небо, ни вот эти камни, ни пастухи не изменились за последние сотни лет. Черное море осталось таким же, каким было во времена Византии и Митридата. Надо уйти в горы, ночевать у костра, пить козье молоко, прислушиваться к крикам орлов. Тогда вы узнаете не профессорскую сущность истории, а замечательное ощущение древно-



сти. Мифы оживут и станут такими же близкими, как близки нам Чехов и Франс. Я, как язычник, верю в приметы, сказки, в миф о рождении Афродиты, в рассказы моряков о господней рыбе и плаче дельфинов. Это вам не Платонов, не Карев и не Сеньобос. Великое искусство – понять вот эту самую древность.

Тусклая жара заливала горы и улицы Чуфут-Кале, населенные ласточками и крошечными горными мышами.

Переночевали мы в гостинице. Темнота брызгала десятками звезд на постель, с гор дул ветер, немолчно бормотали фонтаны. Утром мы уехали в Севастополь.

За Инкерманом я вышел с Хатидже на площадку. В густой зелени грохотали туннели.

– Ты мало рассказал мне о Москве, – сказала Хатидже. – Меня это пугает. Ты что-то скрываешь от меня. У меня так светло на душе. Эти два тихих дня так напомнили мне прошлую осень и Старониколаевскую косу. Почему-то я вспомнила старика Гарибальди, и мне стало его жалко до слез. Я вспомнила ту мертвую ночь, когда мы шли из парка мимо кофеен, где качались желтые фонари. Помнишь? А теперь я думаю о Москве, и мне кажется, что там, в этих переулках у Арбата, у той, кого ты зовешь Наташей, ты оставил часть своей души.

– Я расскажу тебе все. Ты увидишь, что это проходит.

Ветер трепал ее волосы. Прогредел туннель, у самого полотна уже плескались волны. Зеленый залив высоко про-

мчался в окне, на воде серели броненосцы, кувыркались чайки, в легкие ударил соленый запах моря.

– Я не буду больше вспоминать об этом.

Севастополь встретил нас жаром, желтым камнем, бронзовыми памятниками и морем – самым праздничным и пенистым из всех морей.

# Смерть Винклера

Севастополь – это огни эскадры, бухты, как жидкий малахит, моряки в белом (в сумерки они кажутся неграми – так темен загар), много молодых женщин, торговок цветами и адмиралтейских якорей. В маленьких улицах весь день и ночь налито ровное тепло, и пахнет крепким, как спирт, запахом юга.

Вечера в Севастополе – это «хораи». Слово это Винклер услышал от знакомого моряка-подводника, и оно ему очень понравилось. По-японски «хораи» – это те несколько минут, когда день ушел, а ночь еще не началась, когда все до сердцевины пропитано последним светом дня и вместе с тем уже наливаются густой голубизной ночи. Бывает такая ткань, она отливает двумя красками – золотой и синей. Вечера в Севастополе были из этой ткани, опущенной, как воздушный занавес, вокруг этого белого города. Ночь подымалась в морской тишине, огни из желтых становились серебряными. Наступали «хораи», и звенящие медные трубы на кораблях провожали туманную зарю.

Засыпали птицы, пустел базар, женский смех наполнял приморские улицы, и входили на рейд забрызганные свежей водой стальные теплые миноносцы.

Хатидже снимала комнату у вдовы морского врача на Соборной. Я снял комнату по соседству.

Винклер жил у приятеля – художника Лавинского.

На третий день Винклер привел Лавинского ко мне. Лавинский был рыж и угрюм. Начинались «хораи». Над водой пылала огнями эскадра.

– Пойдем на Корабельную, в матросскую пивную, – предложил Винклер. – Там у меня приятели. Есть боцман, рыжий, как Лавинский.

Пивная была в сухом саду, на вольном воздухе. Над столами висели круглые бумажные фонари. В остывающих камнях свистели цикады. Девушка в лиловых чулках, с зелеными порочными глазами принесла нам коньяку и сельтерской, толкнула меня тугой грудью. Над бухтой проревел парходный гудок.

– Начало! – сказал Винклер и налил доверху стакан.

В доме, где был буфет, задыхались от хохота женщины, – должно быть, толстые и потные, и пьяненький тенор пел:

Красотки, красотки, красотки мои...

К нам подошла высокая девушка в короткой юбке. Она наклонилась и нежно пустила в лицо Винклеру дым папиросы. Винклер рассердился.

– Брось! – прикрикнул он. – Позови лучше Настю.

– Сама до тебя придет, – сказала сипло девушка. – Симпатичные мужчины, а скупятся девушку угостить.

Она ушла, покачиваясь, в дом. Винклер долго смотрел ей

вслед.

– Животное, – сказал он и выплеснул свой коньяк в траву.

От духоты тупела голова. За соседним столиком посмеивались крепкие, как лошади, английские матросы. Они горланно восклицали, разглядывали нас, пили медленно, сдвигая с каждым глотком на затылки мягкие шляпы и кепки. Пот капал с их сизых щек, и мокрые лица блестели под фонарем начищенной медью. Пришла девушка. Матросы схватили ее за локти, подбросили и посадили рядом с собой. Один вытащил из-за пазухи коробку раскисших шоколадных конфет и угостил девушку и нас.

Винклер быстро пьянел. Он закурил, долго ловил папиросой огонь спички и сказал в сторону англичан:

– Ливерпульцы, знаменитые корабельные воры. Ну, как ваши лондонские кабаки?

Англичане даже не обернулись в нашу сторону.

– Презирают, – сказал Винклер и весело посмотрел на меня. – В этих кабаках – любовь среди чавкания, мясной отрыжки и пароходного дыма. Выйдешь, а с неба капает, как с гигантской губки, намоченной в Темзе. Даже дождь в Лондоне пахнет падалью.

– Вершины любви, понимаешь, – сказал он и допил свой стакан. – Я алкоголиком стал по твоей вине. Любить женщин под жестяными фонарями на мокрых прилавках – вот. Потом изучать на лицах все пороки и все болезни континента и колоний. Утром, когда задымятся предместья, – как

это, Вайтчепель, кажется (англичане зашумели, – «О, Вайтчепель», – радостно сказал один из них и оглянулся на нас), – поднять воротник пиджака, задрожать, как принято, от сырости, выйти на мост и через лес мачт смотреть на оловянную воду, на кружева Вестминстерского аббатства и думать, что где-то есть веселая и вымытая начисто жизнь, что где-то так свежо и жарко, что борта осклизлых пароходов бывают теплыми от солнца.

Он помолчал.

– А потом рыдать слезами пресловутых небритых бродяг из дамских романов. Рыдать о чистоте, о старой Англии с ее почтовыми рожками, о Моне, о гениальных глазах человека, увидевшего красоту даже в этих туманах.

– О... мать, – сказал он тихо и стал лить коньяк в стакан.

Он держал бутылку вверх доньшком и заливал стол.

– Не пей больше.

– Где Настя? – крикнул Винклер девушке, сидевшей с англичанами, и повернулся к ней всем корпусом.

– С англичанами.

Винклер отвернулся и быстро выпил стакан. Он подавился вином, лицо его посинело.

– Рублевый бордель, – сказал он зло. – Посмотришь Настю, Максимов, тебе надо. Лицо! Беато Анджелико задрожал бы, как щенок, перед таким лицом.

– С английской матросней, говоришь? – переспросил он девушку и рассмеялся. Он наклонился ко мне, взял меня за

плечо и забормотал, дыша в лицо перегаром и тоской.

– Ты слушай, тебе надо знать. Понимаешь, лицо Хатидже. – Он встал, качнулся и схватил меня за руку. – Лицо Хатидже! – крикнул он на весь сад. – Как это может быть? У самой рублевой...

– Молчи! – крикнул я и рванул его. Он тяжело упал на стул. – Молчи, скотина!

Я ударил его по руке.

– Оставь, мне больно.

Он всхлипнул. Лавинский налил в стакан сельтерской и силой влил ему в рот.

– Шпарь прямо в лицо из сифона, – хрипло попросил Винклер.

– Надо его увести, – сказал, морщась, Лавинский. – Последние дни все пьет и пьет и разводит какие-то сантименты. С ним будет истерика. Ну, пойдем.

Мы встали и подняли его. В это время из дома вышла девушка. Винклер вырвался и медленно, вдавливая ноги в землю, пошел к ней навстречу. Она отступила и прижалась к стене.

– Та-ак, – сказал Винклер и остановился. Англичане обернулись. – Та-ак, – повторил Винклер.

Я посмотрел на девушку и вздрогнул: черные тяжелые ресницы, светлые легкие волосы, лицо Хатидже.

– Уговор ты забыла? – спросил Винклер. – Мой день сегодня, мой. А ты с английской матросней, проклятая.

– Ну что?! – звонко крикнула Настя и толкнула Винклера в грудь. – Ну что?! Котом хочешь быть, так на, получай! – И она швырнула ему в лицо измятую бумажку.

Винклер застонал и наотмашь ударил ее кулаком по лицу.

– Ну, бей, бей! – хрипло взвизгнула Настя и схватилась за стену.

Я бросился к Винклеру, но меня опередил английский матрос со шрамом во всю щеку. Он схватил Винклера за руки, вывернул их назад, дал подножку и швырнул на землю. Англичане встали.

– Стоп! – крикнул Лавинский и взял матроса за руку.

Тот посмотрел на него и, тяжело дыша, отошел к своим. Настя убежала. В доме поднялся крик и плач. В окно испуганно кричала хозяйка:

– Пускай идут ко всем чертям, босяки! Что это за мода бить девочек?

Я поднял Винклера за руку и, держа сзади за плечи, чтобы он не упал, вытолкал на улицу. Губы у него тряслись, он кашлял и мычал. Мы усадили его на извозчика, Лавинский сел с ним рядом.

Я пошел к понтонному мосту. Луна высоко стояла над Севастополем, плескали по воде канаты, и кто-то протяжно и долго вопил с берега:

– Эп, на «Ипполите», на «Ипполите», на «Ипполите»! Что вы все, подохли, что ли?

Спал я плохо, мешал слишком быстрый рассвет. Потом



меня разбудили, – какой-то мальчишка принес письмо и ушел, не дождавшись ответа. Я посмотрел на часы, было половина восьмого.

Я вскрыл письмо и прочел:

«Я болен. Не говори ей ничего. Скажи, что я утонул у Херсонеса, потому что был пьян. Прощай. Винклер».

Я понял не мозгом, а внезапным душевным ознобом, что его уже нет. Небо обрушилось тяжким громом. Я вздрогнул, прислушался, но все было тихо, и только кровь противно скрипела в жилах.

– Что же это? – спросил я шепотом и снова прочел записку. Около подписи была приписка:

«Херсонес. Пять часов утра».

Я вышел. Сердце у меня оборвалось, в груди колотилась резкая боль. Я разбудил Хатидже.

– Хатидже, – сказал я глухо. – Винклер утонул.

Голос у меня осекся.

– Сегодня на рассвете... – добавил я шепотом. – Он купался в море у Херсонеса...

Я не мог пересилить себя, и душные слезы застлали глаза. Хатидже схватила мою руку, лишь ее закаменело, глаза были широко раскрыты, я увидел в них черный, остановившийся ужас.

## Дневник

Два дня я провел с Лавинским в Херсонесе. Вечером в первый день приехала Хатидже, но я услал ее обратно. На море разыгралась волна, и каждую минуту могло прибить труп Винклера. Несколько раз мы выезжали в море с рыбаками, волочили по дну сети, и меня угнетала явная глупость того, что мы делаем. Рыбаки говорили, что труп снесло подводным течением к маяку.

Видел Винклера в то утро только старый монах, сморщенный и красноглазый. Он рассказал, что Винклер пришел из города на рассвете. Прошел через сад к морю. Монашек любопытствовал, пошел за ним следом. Шла большая волна. Был он, по словам монаха, «не то нетрезвый, не то больной – с лица очень бледный». Он разделся и выплыл к скалам, лег на волнах, его подняло и ударило о скалу, потом подняло и ударило второй раз. Монашек побежал к братии, но было поздно. Монахи подобрали на берегу только платье.

– Одного не пойму, – шамкал сокрушенно монашек, – зачем его море держит, погода с тех пор все вот такая – крепкая, бьет и бьет...

На другой день упал мгlistый штиль, потом неожиданно для лета нанесло туман. Он стоял стеной у берега, моря не было видно даже в трех шагах, только что-то охало и шелестело на пляжах. Невнятно мычали сирены военных кораб-

лей.

Я сидел у моря, бросал в туман камешки и думал – где Винклер? Почему он убил себя? Только теперь я начал понимать все, что случилось.

– Эх, Винклер, Винклер, – сказал я в туман. – Что угодно – самая подлая жизнь, в чахотке, чаде, каторге, без смеха, но не такая смерть.

Перед уходом из Херсонеса Лавинский неожиданно заказал панихиду. Ярко теплилась в моей руке тоненькая свеча, я мял ее и слушал старческие возгласы: «В месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже несть ни болезни, ни печали, ни въздыхания, но жизнь бесконечная».

Я слушал слова о светлых местах, где покоится Винклер, и думал, что велика была его печаль, неутоленная последним целованием.

Дома я до утра читал и перечитывал записки Винклера, оставшиеся на берегу вместе с платьем.

Он писал:

«У большинства людей тяжелые мертвые руки, а у нее они живут, плачут, ненавидят и любят.

Эти светлые дни рядом с ней, прохладные рассветы, ночи за бутылкой вина в думах о ней, жаркие ветры, россыпи звезд – все мелочи жизни: паруса, трамваи с нарядной толпой, смех детей и женщин, бронзовые лица моряков, книги, газеты, огни прожекторов, дожди в уснувших садах – все

сверкает, точно вся жизнь оправлена в свет. Этим всем я обязан Хатидже, любящей другого. Она часто хмурит брови, когда думает о нем.

Вчера на Приморском бульваре была слышна музыка, и она по-детски зажмурила глаза, чтобы смахнуть слезы. Ей было стыдно, что Максимов ни слова не пишет.

Максимов мальчишка. Ему нужна мать, старший товарищ, иначе он натворит бед. Он бросается ко всему, как ночная моль на лампу, ходит по земле, как фокусник с дрессированной крысой. Он может любить сотни людей, несколько женщин сразу, и всегда искренне. Он мгновенно забывает вчерашний день. Он не любит «проклятых» вопросов. Но тянет к нему людей, а почему – не знаю.

Я думал о том, может ли она полюбить меня. Нет. Максимов сильнее. Он бывает порою суров, упрям, молчалив и застенчив, но есть в нем что-то редкое.

Он поэт. У него сложный подход к жизни. Я люблю его. Он и Хатидже – нераздельны. Они созданы друг для друга.

Матросская слободка. Дом Кондратьевой. Серый, с желтой вывеской. Я выследил девушку. Это порок, рожденный самой чистой любовью. Я боюсь думать, что это возможно с Хатидже. Нужно великое очищение, нужна мужская девственность.

\*\*\*

Весь день проспал тяжелым пьяным сном. Снился целый мир линий и красок, какие-то нездешние вечера. Потом все сны задушила тоска. Я проснулся.

Со дня приезда Максимова ее не видел. Сегодня первый раз. Она светится радостью. Я был спокоен, шутил, а в мозгу билась каждая жилка. Один исход – разбить себе о камни голову.

Губы потрескались. Я слышал, как ржавым ножом соскабливали ржавчину с гвоздя. Это вполне соответствует моему настроению. Я стал идиотом.

Разве в той жизни, о которой пишут Золя, Достоевский, Успенский, могла быть Хатидже? Нет, тысячу раз нет. Значит, они ввали.

Уйти нельзя. Оставаться здесь – невыразимо тягостно. Хотел сказать Максиму. Когда не пьян – я боюсь, когда пьян – я не скажу того, что нужно. Затея неудачная.

Я пережил страшную ночь. Три раза я вскакивал с диким криком, и мне казалось, что вот-вот у меня разорвется сердце.

К утру пришел мой сосед моряк и спросил меня, что со мной. «У меня случился маленький нарыв в сердечной сумке», – ответил я ему. Он с сомнением досмотрел на меня и сказал, что надо бы обратиться к врачу.

Он предложил мне папиросу, поговорил и ушел.

У меня есть прекрасный врач, врач единственный – море. Великая соленая чаша, в которой я захлебнусь, как ребенок.

\*\*\*

Я не увижу ее больше. Нужно это сделать так, чтобы знал только он один. Я боюсь, что раньше времени спячу с ума. Такой конец – самый бесславный и жалкий. Я не могу вынести мысли, что она увидит меня после смерти. В ее памяти я должен остаться живым, спокойным и чистым.

Если бы она пришла ко мне, обняла мои плечи, поцеловала глаза, выпила мои скупые слезы и сказала о том, что жизнь хороша, даже с ее неразделенной и неутоленной любовью, – я, может быть, остался бы.

Максимов, ты будешь читать это. Она не должна ничего знать, – слышишь? Это наше с тобой дело. Поверь, что душой я чист и люблю ее невыразимо, больше жизни, больше себя самого.

Прощай. Как бы мне хотелось выплакаться, чтобы растаяло в груди то железное ядро, которое сжало мне глотку. Как мне хотелось прийти к тебе и все рассказать. Может быть, ты нашел бы простой выход; может быть, я мог бы остаться жить. Я не знаю. Мне очень тяжело. У меня от горечи, от тоски, от томительных мыслей разрывается сердце».

Сегодня, сидя со мной в небольшом саду около дома, Хатидже закрыла книгу и сказала:

– Ты знаешь, что он утонул около тех камней, куда мы как-то выезжали на шлюпке. Ведь он был прекрасный пловец.

Она замолчала.

– Последние дни он так томился! Были дни, когда он метался, как подстреленный зверь, пил запоем. Как-то я его спросила – что с ним. Ты знаешь, что он мне ответил? «Вы не должны были бы знать об этом. Я болен. У меня тяжелая наследственность. У моего отца был прогрессивный паралич». Он лгал. Я сказала ему об этом. «Если это не так, то тем хуже для меня», – ответил он. Несколько дней он пытался смешать краски так, чтобы получился цвет расплавленного золота. Ему это не удавалось, и он приходил в неистовство. Порвал несколько начатых эскизов и бросил писать. «Лучше тех красок, которые мне дает бутылка, я в жизни не видел и никогда не увижу», – несколько раз говорил он.

– Надо перечесть Шелли, – сказал я Хатидже. – Это – его любимый поэт. И он так же, как Шелли, утонул в море.

– Шелли не утонул, – возразила мне Хатидже, и вдруг странная тревога зазвучала в ее голосе. – Он покончил с собой!



## Горячие полудни

В июне из Москвы приехал Серединский. Из Севастополя он ехал в «свое имение» – клочок земли с хибаркой на рыбацкой косе, к северу от Евпатории, около Ак-Мечети. Он рассказывал, что там много солнца, моря и песка, и звал нас с собой. Мы провели вместе несколько дней, потом решили ехать к Серединскому.

Стояли особенные дни – синие и до конца прозрачные, освеженные ветром, будто бы мир был создан только сегодня. Над водой лежали тонкие облака. Такие облака предвещают засуху, недели иссушающей жары. Вода голубела на отмелях, в ней качались красные днища барок. Стальные носы броненосцев полоскала прозрачная крепкая волна.

Я почернел, загар отливал кофейным блеском, брови выгорели, как солома.

Память о Винклере растворялась в солнечных днях. Его образ стал новым, суровым и светлым.

Я долго не мог угадать – в чем была особенность этих дней в Севастополе. Жизнь в легком их шелесте наполняла душу еще не бывшим покоем, ощущением свежести, печали и одновременно силы.

Каждое утро мы втроем шли в купальни. После ночи вода была холодна, качалась стеклянными буграми, по дну бегали крабы, путались водоросли, полотнища флагов рвали под

ветром, горячим и синим до боли. В пене, как розовый арабийский мыс, стояла Константиновская батарея.

Я отплывал далеко от берега, упругая вода ходила подо мной, я ложился на спину и пел несвязные чьи-то стихи. Часто я подплывал к парходам. От них тянуло запахом масла и нагретой краски. Я качался на воде, прошитой слоистыми зелеными лучами, глядел на черную корму и ржавый громадный руль. Как стаи чертенят, ныряли за копейками черномазые мальчишки. Однажды чахоточная девушка бросила мне полтинник и крикнула: «Ловите!» Я нырнул и поймал в воде медленно тонущую монету. Когда я выплыл, она перегнулась через борт и смотрела на меня.

– Я боялась, что он утонет, – сказала она своему соседу, толстому юноше в пенсне.

Я изловчился, бросил полтинник и попал юноше в лицо. Пенсне упало и разбилось. Мальчишки завывали от восторга, зашлепали по воде руками, парход загудел, матросы начали гонять нас линьками. Сотни серебряных, как булавки, маленьких рыбок фиринок рвали в зеленой воде хлебные крошки.

Я поплыл к Серединскому. Между нами, сверкнув на солнце черной тушей, перевернулся дельфин.

Я видел, как далеко плыла Хатидже. Ее смуглые руки медленно и спокойно ложились на волну. И вдруг ярко блеснул синим огнем камень в ее кольце. Шумело море, хлопая суровыми парусами проходившей мимо барки.

Мы вышли и долго лежали на солнце. Я читал желтенькую книжечку «Универсальной библиотеки» Анри де Ренье, читал медленно, часто откладывал ее и втягивал в себя острый запах рассола.

Часто после купанья мы заходили в темное, пустое кафе, и мрачный хозяин-грек подавал нам в чашечках кофе со сдобными булочками. Моряки в белом, с золотыми кортиками, с крепкими лицами, улыбаясь, оглядывались на Хатидже.

Сквозь жалюзи в комнату врывались тонкие стрелы солнца, когда мне принесли письмо от Наташи.

«Больше месяца от вас нет ни слова. Неужели вы хотите, чтобы, кроме нашего „обручения“, у меня не осталось ни одного воспоминания о вас?»

Я узнала из письма Серединского, что утонул ваш друг, художник Винклер. Из этого же письма я узнала, что в Севастополе вы загорели, сильно возмужали, ваши дни проходят празднично и свободно. Я узнала, что Хатидже «необыкновенно изящная девушка, с волосами цвета темного золота».

Напишите мне несколько слов. Если бы вы знали, как одиноки и бессонны московские ночи, когда духота кутает город ватным одеялом. Несколько раз я ездила с братом на лодке в Нескучный сад, и вчера мы даже провели ночь в том же месте, где вы прятались от сторожей. Там я лежала на траве, в старых липах, думала о вас всю ночь напролет до рассвета. Только любовь может диктовать такие сумасбродные вещи – проводить ночи в Нескучном саду. Утром мы возвращаемся

в город. Брат молча гребет, и лицо у него становится грустным и задумчивым. Иногда он скажет несколько слов о вас, всегда очень хороших. Там, в Нескучном, я иногда плачу. Я долго думала – написать ли вам об этом. Но так глухо и тяжело бьется сердце, что я не могу не сказать вам этого.

Я приеду в Евпаторию в конце июня. Напишите мне, где вы будете, я хочу увидеть вас около моря».

Я сказал об этом письме Хатидже.

– Напиши, чтобы она приехала. Я не буду спокойна, пока ты не напишешь ей. Любить тебя – большое испытание. Громкое испытание, но я уже перенесла его.

В порту два раза оглушительно прокричал пароход. Пора было ехать. Под окном раздался условный свист Серединского.

– Пойдем, – сказала Хатидже. – Значит, так?

– Так, – ответил я, притянул ее к себе и поцеловал в глаза.

# Рыбачий поселок

Утром отвалил от пристани, зарываясь носом в волну, небольшой катер «Гурзуф». Мы стояли на палубе.

Плакали дети, гортанно кричали татары, разносчики перебрасывали возле нас апельсины, зеркальными бликами ходило по морю солнце. На пристани неподвижно сидели рыболовы, и серебрилась вода на сером, источенном ветром граните.

«Гурзуф» оглушительно прокричал и, валясь на борта, обогнул Константиновскую батарею. Открылись берега в садах и пламени летнего неба. Хатидже бросила в море серебряную монету, и тотчас же около носа парохода понеслись вперегонки мокрые на солнце дельфины. Запутался в тенте теплый ветер, налетевший с юга.

Мы долго смеялись из-за каждого пустяка. Грек-капитан в грязной куртке курил самодельную папиросу и зорко смотрел на берег. Ветер обвевал белые платья женщин, обнажал стройные ноги.

«Гурзуф» смело и упорно нырял, и пена шумела под кормой, разливая озера замысловатых кружев.

В небольшом доме Серединского для каждого нашлась комната. Обедали на балкончике. В окна лился синий свет, и ветер безнаказанно гулял по комнатам. Рыбачий поселок казался мертвым. За окнами лениво бродил по дачам тата-

рин продавец фруктов, предлагая свой товар.

Далеко на горизонте Чатыр-Даг, видный с севера, стоял, как золотой слиток, едва тронутый чернью.

– Идите чай пить! – крикнул нам снизу Серединский, – На днях пойдем на Чатыр-Даг. Я был у Ахмета: он подвезет нас до перевала.

Чай мы пили на прохладной каменной террасе. На море белел косою латинский парус. Около изгороди стоял маленький ишачок Оська, хлопал серыми пушистыми ушами и переступал с ноги на ногу. Увидев Хатидже, он подошел к ней, уткнул влажную морду в ее колени, потом восторженно завопил, прося хлеба.

Сосед Серединского, дед Спиридон, седой и шумливый старик с коричневым лицом, пьяница и балагур, принес бутылку собственного вина. Весь день он возился в винограднике, где ему помогали две девушки-татарки. По вечерам они бегали к Хатидже с черного хода – просили погадать по руке и тихо, чтобы не услышал дядька Спиридон, звали ее, бросая в окно камешки:

– Хатидже, ханым Хатидже!

Потом стали приходиться старухи татарки, высохшие и безобразные, как смерть. Они приводили с собой переводчиц-внучек в шитых золотом шапочках. В Хатидже они чувствовали что-то свое, учили ее татарским словам. Старухи благоговейно слушали, что говорила им Хатидже, и только изредка вскрикивали от радости или от огорчения. Меня с

Серединским на время изгоняли с верхнего этажа, и мы уходили в сад или на берег пить кофе.

Татарки приносили Хатидже абрикосы, персики, груши. Раз вечером кто-то бросил ей в окно шарф с черными цветами.

Однажды нас всех пригласили на татарскую свадьбу. В белом доме с низенькими цветистыми диванами по стенам на мужской половине было шумно и накурено. Серединский пел свадебные песни. Выпили много молодого вина. Хозяин подарил нам старинный ятаган с золотой полустертой арабской надписью.

Потом мы, громко перекрикиваясь и покачиваясь, ездили на пароконном извозчике вокруг базара с отцом и братом невесты. На передней скамейке сидели два бледных, испуганных еврея-музыканта и торопливо играли бравурные марши. Встречные татары скалили зубы и подносили ладонь ко лбу и к груди, приезжие русские смотрели нам вслед с радостным изумлением.

На белой хате Спиридона было размашисто во всю стену написано черной краской: «*Vive la vie et la mer!*»<sup>4</sup>

– Это что у тебя? – спросил Серединский.

– Фамилие мое по-французски. Тут осенью один человек приехал из Одессы, с нас всех портреты писал. Так это он. «Дай, говорит, Спиридон, я на твоей бандуре фамилие твое напишу по-французски, будет твоя бандура заместо маяка,

---

<sup>4</sup> Да здравствует жизнь и море! (франц.)

моряки на нее определяться станут». – «Пиши, кажу, пес с тобой». Хотел еще хату всю красками расписать, да жена не дала. «И так, говорит, испоганил, незна що написано, может, это, говорит, французские матюки». Вы по-французски грамотный?

– Грамотный.

– А прочитайте.

– Спиридон Карлович Ярошенко, – прочел Серединский.

– Ну, значит, правильный человек.

А рыбаки пугали деда:

– Вывдимер написано у тебя. Выходит, что в Володимера перекрестил тебя грек, перевел в свою французскую веру.

– Да он, пиндос, кефалья душа, по глазам было видать, что листригон. Янаки его фамилия.

Наконец, третьи утверждали, что неведомый художник – сын очаковского булочника – приезжал на косу спасаться от воинской повинности.

Как-то на берегу я ловил на самоловы бычков, рядом лежала Хатидже и сидел дед Спиридон. Он чесал грудь и развивал тему о солнечных ваннах.

– Сраму в этом нет никакого, все богом сотворены, чего же его стыдиться. Солнце с человека лишний жир вытапливает. А это что! Был я матросом второй статьи, на «Иерусалиме», плавали мы на самый Дальний Восток, так там, в Азии, ходят, можно сказать, начисто голые и не срамятся. Привычка сказывается у людей. Народ все ровный, думаю –



от воздуха это.

Я вспомнил, что Жучок мне тоже рассказывал про «Иерусалим».

– Дед, а на «Иерусалиме» не было с тобой Петра Жученко?

– Жучка? Да как же не было. Товарищ, можно сказать, вместе бедовали.

Пошли расспросы.

– Жучок! – кричал дед Спиридон. – Божий человек. Было у него дело с обезьяной. Купил он ее в Сингапуре. Не совсем она обезьяна, зверек такой, вроде кошки, умный, стерва, хвост, как у лисы. Цикавый зверек, всюду нос ткнет. У капитана с каюты сигару возьмет, принесет до матросов, положит, радуется. То на мачте сидит, с флагом играет, то у офицеров с карманов платки повытягивает и крутится по палубе, как одурелый. Пришли в Одессу. Дело было к зиме, а в Одессе снег, ветер, смотреть скучно. Зверек и затих. Сидит на планшире, трусится, глядит на снег, а сам плачет.

Потом зачал кашлять. Забился в каюту к механику, к отоплению, сидит и смотрит так, что капитан как-то зашел и говорит: «Эх, брат, ежели бы сейчас рейс в Сингапур, вот была бы радость. Чахотка у него, говорит, не может он пакости этой выносить».

А ветер зудит и зудит. Зверек потом и у отопления замерз, залез Жучку за пазуху, потрусился сутки, поплакал и помер. Жучок убивался, как по родному сыну, да и всем жалко бы-

ло.

Пошли вторым рейсом в Сингапур, однако капитан запретил зверей покупать. «Хватит с нас и одного, говорит. И тот всю душу вымотал. Что вы, говорит, из животной делаете себе ляльку». Так и ходили без обезьяны. Был только старый петух Трубач, да и тот подход в Красном море – сомлел от жары.

Дни на косе шли под неторопливые рассказы Спиридона. Он научил Хатидже вязать сети. Вязала она вместе со Спиридоном и слушала часами его болтовню.

– Светлая женщина сестрица твоя, – сказал мне как-то Спирридон. – Справная женщина, красавица.

– Угадал старик, – сказала мне Хатидже. – Мы живем как брат и сестра. Ты должен полюбить другую. Когда я увидела тебя в кабачке, – помнишь? – у меня потемнело в глазах, а потом как-то все переменялось. Я стала совсем другой. Это у меня после Винклера. Ты ничего мне не рассказал, но я все знаю. Будто он умер и взял меня прежнюю. Осталась только скучная девушка, и ты теперь не должен меня любить.

– Все проходит, – глупо сказал я, растерявшись. – Винклер умер, потому что у него хватило сил только на двадцать пять лет. Если бы не ты, что-нибудь другое свихнуло бы его, какой-нибудь пустяк, случай. Как ты узнала об этом?

– Из его записок. Ты забыл их в книге Анри де Ренье. Да, – тихо сказала она. – Да, но зачем же он ничего не сказал мне, как он смел не сказать, если я ему была так близка. Как я

сама не поняла?

– Не знаю, как ты, – ответил я, – но у меня каждый день замирает сердце от мысли, как хорошо жить.

– У меня это тоже пройдет. Дай мне подумать еще день-два. Мне ведь так хорошо, я вся почернела от солнца, здесь море страшно крепкое. Смотри, пароход.

Прибежал Серединский. Пришел Спиридон. В голубизне, где темный воздух дрожал, как флаг от ветра, медленно шел оранжевый пароход с белой трубой.

– Иностранец, – сказал Спиридон. – Со Скадовска пода-ется до Константинополя.

Я повернулся, и надпись снова ударила в глаза: «Vive la vie et la mer!» Я показал на нее Хатидже.

– Хорошая у тебя фамилия, дед, – сказала она Спиридо-ну. – Правильная фамилия.

Утром из Евпатории приехал на лошадях коротенький си-зый грек, дядя Харито – скупщик рыбы. До полудня он тор-говался с рыбаками на берегу насчет будущего осеннего уло-ва. Шел шумный подсчет долгов, много кричали о баламуте, султанке и кефали, о том, что нигде не достанешь хороших сетей, что великим постом Харито надул народ на рыбе, а теперь смотрит людям в лицо бесстыжими глазами.

– Чего гавкаешь? – кричал Харито самому горластому ры-баку Андрюхе. – Чего гавкаешь в зубы, я цену сам знаю, – и он сердито вертел желтыми белками. – Спасибо, дурень на-

шелся у вас покупать. Что ты мне суешь – кефаль, кефаль. Ваша кефаль – никуда перед кинбурнской.

– Друг! – кричал вдохновенно Андрюха и бил себя пятерней в грудь. – Друг, надо же иметь на это дело понятие. Да разве там кефаль, на Кинбурне, спроси всех береговых! Там же худая тарань, самый низкий товар, верьте слову!

К полудню договорились и затихли.

– Третий год сюда езжу, и всегда скандал с этим дядей Харито, – сказал Серединский. – Главное, без толку. Ведь он для отвода глаз здесь мотается. Какие теперь рыбные дела, самое глухое время. Он контрабандист, у него в разных местах свои люди.

Было душно. Море отливало алюминием. Казалось, над горизонтом оно кипит – там стояла седая мгла. Солнце палило нещадно. Собаки лежали в тени, высунув языки, мокрые бока у них ходили ходуном. Вода была налита у берегов, как стекло, – ни одного всплеска.

После чая пришел с почты запыленный телеграфист и принес мне телеграмму:

«Субботу буду Ялте, гостиница „Мисхор“. Если можете, приезжайте. Наташа».

– Какой у нас сегодня день? – спросил я Серединского.

– Суббота.

– Мне нужно поехать в Ялту. Завтра днем я вернусь.

Серединский сделал недовольное лицо.

– Какие у вас в Ялте дела? – сказал он сердито. – Не люблю

я этих деловых телеграмм. Зачем вам ехать? Разве нельзя отложить? Пропадет наша поездка на Чатыр-Даг. Плюньте.

– Нельзя, – ответил я твердо и взглянул на Хатидже. – У меня там срочное дело, связанное с изданием книги. Вы с Хатидже поезжайте на Чатыр-Даг, а я приеду в понедельник утром через Алушту и найду вас в хижине Горного клуба. Идет?

– Ну ладно, черт с вами, – неохотно согласился Серединский.

– Идет! – сказала Хатидже беззаботно и внимательно посмотрела на меня.

Я порвал телеграмму и пошел в свою комнату.

# Театральный монолог

Катер, накренившись на правый борт, быстро шел, гулко работая винтом. На пристани были еще видны Хатидже и высокий, как жердь, Серединский.

Я закурил и сел в тени под тентом, но тотчас же встал. Я был неспокоен. Около Ак-Мечети к борту подошла шлюпка с пассажирами, катер застопорил машину, и его стало размеренно качать на отлогих волнах. На юге засверкала первая, бледная, как пепел, звезда.

«Странная у меня жизнь», – подумал я, стоя около машины и держась за поручни. Пришел матрос и поставил на бортах красный и зеленый огни.

– Хатидже! – позвал я, как тогда, на мосту, позвал в серую мглу повечерья, в ночь, в мглистые степи. Ради нее, дрожащей от малейшей несправедливости, от каждого незаметного укола жизни, я буду ласков с Наташей. – Хатидже! – снова позвал я и подумал о том, что сейчас она, должно быть, сидит при свечах на террасе, о лицо ее бьются ночные бабочки, и глаза у нее глубокие, грустные. Серединский шатается на набережной или болтает с Хатидже. Дядька Спиридон сидит на базаре в кофейне и играет в кости со своими приятелями, которых Серединский почему-то зовет «голубиными охотниками». Над морем уже ночная тишина, а в саду звенят, как рассыпанный бисер, цикады.

В густой тьме вспыхнули и разорвались ожерельем по черной воде огни Ялты. Катер протяжно засвистел. Вспыхнул и тотчас же погас свет Айтодорского маяка. Потом я спустился в маленькую тесную каюту, по которой нервными бликами бегал свет керосиновой лампы, и посмотрел на себя в зеркало. Около него спал гимназист с бледным измученным лицом.

Когда я поднялся на палубу, катер качался на темной воде и медленно подтягивался к набережной. Из трубы вырывались редкие крупные искры. Было слышно, как шумел город.

Я сошел на берег и зорко осмотрел нарядную толпу на пристани. Наташи не было.

Я медленно пошел к городу. От наваленных на пристани бочек шел густой запах смолы. Я остановился около лотка с китайским фонарем и купил папирос.

– Ну, вот и вы, – сказал кто-то позади меня.

Я обернулся и в желтоватом свете фонаря увидел Наташу.

– Вы изменились, – сказала она и с изумлением взглянула на меня. – Загорели, словно выросли.

Мы медленно пошли к городу.

– Милый, – едва слышно прошептала она, – как я благодарна вам за то, что вы здесь. Скажите правду, вы не сердитесь на меня? Вы не сердитесь? – снова спросила Наташа и близко наклонилась ко мне. Ее волосы щекотали мою щеку, ее дыхание обжигало мои губы.

– Как я люблю, – глухо сказала она. – Хатидже ведь все

знает, я уверена в этом.

Я остановился. Мы облокотились о парапет. Внизу сонно набегало море. Я взял ее руку, прижал тоненькие пальцы к губам.

– Зачем вы приехали? Я не буду говорить вам ни слова о любви. Хорошо?

– Хорошо, – громко сказала Наташа и больно сжала мою руку. – Хорошо. Вы будете молчать. Но я буду говорить о любви. Мне ведь можно.

До позднего вечера мы просидели на набережной. Наташа была как-то особенно возбуждена, нервна и временами задумчива.

Когда я провожал ее, она спросила меня дрогнувшим голосом:

– Можно мне вас проводить до Алушты? – и посмотрела на меня виноватыми глазами.

– Едем, – ответил я просто. – Завтра в семь часов утра отходит катер. Я буду ждать на молу.

В темноте мы попрощались. Над морем медленно взошел поздний месяц. Мои шаги отдавались среди сонных садов.

Когда начало светать, я быстро встал, оделся и подошел к окну. Густое море еще спало. На востоке, бросая на воду широкие блики, небо горело алой, еще бессветной зарей.

Я прошел в купальню. Вода была теплее воздуха, ходили в ней стаями бычки и серебряные маленькие рыбки – фирины. Я вздрагивал от холода. Первые червонные лучи солнца



легким теплом упали на меня.

Я напился чаю в трактире около порта и пошел к молу. На корме катера неподвижно висел флаг. Матрос чистил медные поручни на мостике. На красную бочку, брошенную на якорь среди гавани, садились чайки. Тонкие розовые облака подымались над горами.

Я сел на чугунный причал. Было только шесть часов.

Незадолго до отхода катера пришла Наташа.

Море дрожало тысячами солнечных бликов, катер был почти пуст. Ехали несколько татар, одинокая дама с подведенными глазами и седоусый плотный моряк. Быстро уходила Ялта.

– Я поверила в то, что жизнь – фантастическая вещь, – сказала Наташа. – Вспомните вокзал в Архангельске, Торбьерсена с черной трубкой в зубах, ваши рассказы в Братовщине. Когда я впервые поверила в то, что мы живем в каком-то заманчивом круге неожиданных встреч, событий, переломов, душевных кризисов и перерождений, я почувствовала, какая тяжесть упала с моей души. Я попала в ваш водоворот, и теперь каждый день я жду неожиданностей. Может быть, завтра вы прогоните меня; или, может быть, завтра я стану прежней Наташей и буду издеваться над вами, как над своим рабом. Вы понимаете это? Жизнь потеряла свою реальность. Как гнилые звенья, выпали ее законы, и сила каждого дня владеет мною, бросает меня из одной крайности в другую. То же и с вами. Я теперь уже ничего не боюсь. Я

могу теперь прийти с вами на Чатыр-Даг и поцеловать руки у Хатидже. Я могу ударить вас, крикнуть вам какое-нибудь страшное оскорбление.

Ее резко очерченные губы вздрогнули.

– Если мне попадетсЯ ваша рукопись «Жизнь», я сожгу ее. Вы слышите? Спрячьте ее получше!

– Зачем? – спросил я и в упор посмотрел в ее вызывающие глаза.

– Вы напишете другую. Обо мне, – повторила она громким шепотом.

– Смотрите, – она отстегнула жемчужную брошь на белом шелковом платье. Под тонкой тканью вздрагивала смуглая девичья грудь. – Когда я тоскую о вас, я тогда хороша. Я люблю себя. И бешусь от сознания, что вы не видите меня в эти минуты.

Она быстро встала и бросила жемчужную брошь в море.

– Вашему морю, – сказала она, не оглядываясь. – Вашему родному Черному морю.

Она обернулась ко мне. Зайчики от волн играли на ее плече.

– Ну что? – спросила она и с тревогой и вызовом посмотрела на меня.

– Если хотите, – ответил я медленно, – я напишу для вас пьесу, и там будет монолог в этом роде.

Я закурил и облокотился на борт. Мы долго молчали.

– Да, значит, так, – тихо, словно про себя, сказала Наташа

и провела рукой по глазам.

В Алуште, когда мы сходили на берег, мне показалось, что ее слегка укачало.

Пока я посылал за лошадьми, мы выпили кофе в дощатой хибарке на набережной. За кофе Наташа вздрогнула всем телом.

– Я как будто впервые увидела вас, – сказала она, опуская густую белую вуаль.

У дверей ждал извозчик на паре поджарых крымских лошадей.

Около перевала нас застали сумерки. Быстро падала ночь. Пахло горными травами, хвоей, тихо фыркали лошади.

Извозчик обернулся ко мне и сказал:

– Утром буду ждать у перевала. Я коней тут поставлю. Ладно?

– Ладно.

– Тут вода есть, – напоить коней можно. Сладкая вода.

– Кушать не хочешь? – снова спросил он. – Брынза есть, хлеб есть, вина две бутылки есть.

– Там, на перевале, – ответил я.

Становилось холодно. Наташа закуталась в плащ. Легкий ветер шумел в соснах.

Над Чатыр-Дагом тяжело лежала ночь, подернутая серо-голубым туманом. Ярко разгорались близкие звезды, и слышен был далекий, непрерывный скрип арбы.

Извозчик долго объяснял нам, как найти хижину Горного клуба, чертил кнутовищем по земле, брал меня и Наташу за руку и с жаром показывал пальцем в вечернюю мглу.

– Собьешься с дороги – тут пастухов много. Покричи – отзовутся. Будешь идти – бери правее. Смотри на землю – есть провалы. Кругом кусты, трава – не заметишь.

Наташа выпила вина, есть она не хотела.

– Максимов, вот что, – сказала она после долгого молчания прерывающимся голосом. – Я не пойду туда. Я вернусь. Я не могу идти. Я совсем больна, разве вы не видите?

– Наташа, – я поднял ее голову и посмотрел в глаза. – Все равно я не пущу вас. Из-за этой глупости на пароходе, из-за этих нелепых слов вы дрожите, вас лихорадит, вы сама не своя.

Она сдерживала слезы.

– Зачем же там... на пароходе? Это жжет меня, жжет вот здесь, в груди. Я ведь не хотела вам сказать ничего злого. Ведь вы знаете... Ради вас я коверкаю всю свою жизнь...

Я откинул ее голову и поцеловал в глаза, потом долго гладил волосы. Она прижалась ко мне, положила голову на колени и судорожно вздыхала.

– Значит, это неправда, – тихо сказала она, посмотрела на меня искоса и застенчиво улыбнулась. – Да, неправда? – Она засмеялась. – Ну хорошо, пойдем. Я только сбегая к ключу и ополосну глаза.

Мы, тихо переговариваясь, пошли. Впереди белело пер-

вое плато. Потом начался крутой, опасный ночью подъем. Мы вспугивали каких-то горных птиц, и их крик, тревожный и дикий, тонул в медлительной горной тишине. Наташа шла позади меня. Кое-где я останавливался, подавал ей руку, и она карабкалась на выступы. Вековая тишина стояла под низким небом, и было слышно только, как осыпаются под ногами камни.

– Опасно идти в такую темь, – сказал я, медленно обходя провал. – Как бы не сорваться.

– Не сорвемся! Вам не холодно?

– Немного. Здесь уже разреженный воздух. Вы слышите, как пахнет травами?

– Оге-эй! – протяжно крикнул я, и стократное эхо внезапно покатилося по провалам и ущельям.

– Как жутко, – прошептала Наташа.

Мы были уже на первом плато. На краю обрыва мы сели. Наташа взяла мою руку и спрятала у себя на груди. Моя рука тихо вздрагивала от ее дыхания.

– Вы забудете меня, Наташа, – сказал я. – А я – я ничего не понимаю. Все больше и больше я думаю о том, что ломаю себя, жгу с двух концов. Может быть, уже скоро придет тот час, когда я приду к вам, скажу о любви и буду просить ее, как милостыню, и вы прогоните меня.

– А сейчас? – спросила Наташа.

– Сейчас мне страшно. Меня тянет броситься в эту жизнь, не рассуждая, ни о чем не думая, броситься в любовь, как

вот в эту пропасть. Когда я вижу вас, я люблю и вместе с тем стараюсь убить в себе эту мучительную, берущую всю мою волю любовь. Но Хатидже... – Я замолчал.

– Я – сумасшедший, – сказал я резко. – Я надсмеялся над всеми человеческими законами.

– Страшно? – вкрадчиво спросила Наташа и обняла мои плечи. – Смотрите, какая ночь в горах. Вы слышите, как пахнет полынь? И кто-то бросает на весы мою любовь и любовь другой. И моя чаша весов все опускается, опускается.

Она встала на колени, сбросила плащ и расстегнула смутно белевшее платье.

– Поцелуйте ее, – властно сказала она и коснулась груди концами пальцев.

Я целовал ее тело. Далеко в горах гулко и мощно сорвался обвал.

– Теперь вы перестанете мучиться. Теперь вы – мой. О, теперь вы не уйдете от меня, потому что от любви смешно и глупо бежать.

Я чувствовал усталость и свежесть.

– Оге-эй! – снова крикнул я протяжно и прислушался. Медленно угасая, прокричало эхо на Бабуган-яйле.

Мы осторожно шли к хижине Горного клуба. Наташа держала меня за руку.

За густыми зарослями колючих кустов был слышен легкий звон. Я крикнул. Кто-то хрипло отозвался. Это были пастухи. Старый татарин отогнал мохнатых овчарок и долго

на ломаном языке объяснял нам, как пройти к хижине Горного клуба. Молча, с изумлением посмотрел на Наташу и приложил ладонь ко лбу и к груди. Сбившись в темную гряду, спала отара.

Когда мы вышли к хижине Горного клуба, была уже поздняя ночь. Я постучал в стекло.

– Кто там? – спросил за стеной Серединский.

– Я, Максимов, – откройте, надо согреть мою спутницу.

– Вы с кем?

– Увидите.

Серединский долго вставал, что-то уронил, потом тихо отодвинул засов. Пахнуло теплом. В темноте он не узнал Наташу.

– Не кричите от неожиданности, – сказал я ему. – Это – Наташа.

Серединский опешил.

– Наташа, дорогая, сумасшедшая, ночью на Чатыр-Даге с этим шалопаем. Как вы не сорвались в пропасть? Когда вы приехали? Мы думали, что он уже не придет. Завтра решили возвращаться.

– Где Хатидже? – спросил я.

– Спит. Не шумите. Она устала, горный воздух очень расслабляет. Ну, как в Москве?

– Потом наговоритесь. Надо вскипятить чай.

Мы тихо вошли в низкую комнату. От чугунной печки шел слабый красноватый свет. Пахло можжевельником. У

стены на полу спала Хатидже. Лицо у нее было по-детски чисто и спокойно.

Наташа, кутаясь в плащ, села у очага на деревянную скамейку и долго, не слыша вопросов Серединского, смотрела на Хатидже. Потом она позвала меня.

Хатидже вдруг поднялась и стала на колени. Широкая ту-рецкая шаль упала с ее плеч.

– Кто это? – спросила она. – Ты пришел? Я тебя так ждала. Ты, наверное, очень озяб.

– Хатидже, – сказал я. – Я не один. Со мной Наташа.

Хатидже быстро встала.

– Простите, тут так темно, – сказала она, поправляя волосы. – Почему вы не разбудили меня?

Хатидже подошла к Наташе и крепко пожала ее руку.

– У вас ледяные руки. Серединский, дайте вина. Здесь очень холодные ночи, в горах.

Мы выпили по стакану вина. Серединский вскипятил чайник на очаге. Мы пили чай с галетами. Наташа рассказывала о Москве. За запотевшими окнами дрожали звезды.

Потом мы легли на полу и в темноте, в смутном свете угасающих углей долго разговаривали. Хатидже укрыла Нагашу своей шалью. Кричал сверчок, и снова в горах раскатисто сорвался обвал.

В туманный теплый день мы возвратились в рыбацкий поселок.

– Как здесь чудесно, – сказала Наташа, не отпуская мою



руку. Зайчики от воды загорелись в ее глазах.

– Что это?

– «*Vive la vie et la mer*», – сказал Серединский. – Смотрите, Наталья Петровна. – Он показал на хату Спиридона. – Это вывеска наших мест. Правда, влипает в глаза? А это – дедушка наш, Спиридон Ярошенко, отставной боцман с клипера «Веста». Когда ты, дед, плавал на «Весте»?

– Еще до царя Александра Второго, в турецкую войну.

– Вот вам, – сказал Серединский, – мы окружены морем и простотой.

– Хорошо, – вздохнула Наташа. – От воздуха, что ли, слипаются глаза, или от полыни, – не знаю.

– Пойдемте, – взяла ее за руку Хатидже. – Пойдемте в дом, вы устали.

Хатидже увела Наташу к себе. Серединский накрывал на стол, я сидел со Спиридоном на ступеньках балкончика, и мы рассуждали о том, какие теперь пошли липовые шкипера-брандахлысты. Я плохо слушал Спиридона. Из комнаты Хатидже доносились голоса, плеск воды.

– Ты гляди на него, – говорил Спиридон и тыкал черным пальцем в белый с синим силуэт «Гурзуфа». – Ты гляди, куда у него нос задран. Шхуна не шхуна, бандура не бандура, одно слово – одесская работа, она под ветром закатывается, рыскливая собака. Под парусами на ней ходить немислимо.

Из комнаты Хатидже долетали отдельные слова. Говорила Хатидже: «Знаю, конечно...»

Потом был слышен голос Наташи: «Значит, конечно... Понимаю, что страшно глупо... Больше мне не хотелось бы говорить... потом».

– И не надо, – сказала внятно Хатидже. – Разве может быть лучше? Пойдемте.

Они вышли. Мы сели за стол, Спиридон сел с нами.

Наташа смеялась больше всех. Смеялась нервно, слишком поспешно. Там все было решено, в комнате Хатидже. Я это знал теперь наверное. Хатидже была беззаботна. После смерти Винклера я первый раз видел ее такой. Серединский пел, рассказывал глупости, иногда кричал дико: «Эх, здорово!»

Один я был настороже. Казалось, все мы играем комедию и боимся посмотреть друг другу в лицо. Надо решить: или я остаюсь здесь, или завтра уезжаю с Наташей.

Но зачем? С Наташей жить нельзя. Месяц вместе – и потом конец. Есть люди, которые не выносят любви, похожей на часовой механизм, любви, что стучит ежедневно, размеренно и скоро надоедает. Через месяц ее уже надо заводить, потом пружина ослабевает, и заводить надо уже не раз в месяц, а каждый день. Нет, это страшно.

«К черту! – подумал я и раскрошил хлеб. – Довольно думать о том, чего решить нельзя. Обдумать – значит обойти по кругу, вернуться в то же место и начинать сначала. Пусть будет, что будет».

– Что с вами? – спросила Наташа. – Вы не сказали ни слова. И это здесь, в такое утро, когда глупеешь от солнца.

В это время на море лег двойной медленный гром.

– Эге, – сказал радостно Спиридон. – Эскадра на Тендре, боевая стрельба. Даст бог, постреляют, накличат дождик. Садочек совсем пропадает.

Весь день гроыхала за горизонтом эскадра. Наташа уснула в качалке на полуслове.

– Устала, – сказала мне Хатидже. – Посмотри, так спят только очень счастливые люди.

Лицо Наташи побледнело. Она дышала ровно и спокойно. Длинные, загнутые, как у детей, ресницы темнили веки, губы были приоткрыты.

– Я полюбила ее, – сказала мне Хатидже и улыбнулась. – Не прячь глаза, я, правда, полюбила ее. Я знаю, что у тебя ничего не прошло, что ты думаешь только о ней. Теперь слушай. Я полюбила тебя еще давно, очень давно, раньше, чем мы встретились здесь, потом была твоя Москва, твои письма, недосказанность, смерть Винклера, и вот ты стал мне самым близким, самым нужным человеком. Вне тебя я не живу. Ты знаешь, я упрямая и ничего не делаю наполовину. Я полна забот и тревог о каждом твоём дне, я часто делаю хорошее людям только потому, что они любят тебя. Мне легче не жить, чем увидеть, как ты мучаешься. – Она отвернулась. – Я поняла, что у тебя в жизни будет много падений и подъемов, ты будешь еще много любить, мучиться: каждая любовь – это новое рождение себя, – но я всегда буду близка тебе, потому что у нас одна цель – твоё творчество. Оно

принадлежит всем. Все, что ты написал и напишешь, выше той боли, что ты доставляешь мне. Я хочу, чтобы никто не мучился. Мое прошлое и будущее только в тебе. Теперь все ясно.

– Вот Наташа, – сказала она, и голос ее дрогнул. – Я смотрю на нее и на себя и думаю: мать и невеста. Мать и невеста... – повторила она и рассмеялась. – Обeim по двадцать четыре года. Но если ты бросишь писать, бросишь думать и расти как человек, я откажусь от тебя. Значит, так?

– Да. Мне стыдно. Ты так просто решаешь все, над чем я бьюсь очень долго.

– За один день я стала взрослой, – сказала Хатидже, и верхняя губа ее вздрогнула. – А теперь – довольно об этом.

Вечером мы сидели на берегу, на перевернутой шаланде.

– Помните вечер в Братовщине? – спросила Наташа. – Вы рассказали тогда об одной ночной встрече около Тараханкута.

Серединский вспомнил рассказ и тихо пропел:

И, расходясь сквозь сумерки и воды  
В печальный путь, далеко от земли,  
Мы поняли, что потеряли годы,  
Что полюбить друг друга мы могли.

Низко горели звезды – одной ровной чертой. Они качались в прибое, тишина темнела над степью. Над водой она голубела, и Млечный Путь лежал, как белая арка в молчали-

вом море. В бухте был слышен осторожный плеск.

– Контрабанду сгружают, – прошептал Серединский.

– Сейчас уже полночь, – тихо сказала Хатидже. – Звезды в полночь замедляют свой бег, как говорит дед Спиридон. И слышно, как со сна вздыхают дельфины. Через пять часов вам уже уезжать.

Наташа нашла в темноте мою руку и сжала, как тогда в лесу во время горелок.

– Видите огни? – спросила она и коснулась дыханием моей щеки. – Видите четыре огня?

Я всмотрелся. Правда, огни.

– От Тендры идут к Севастополю. Должно быть, транс-порт.

Огни долго мигали, потом утонули в море.

– А может быть, там человек, которого вы ждете всю жизнь? – спросил Серединский Хатидже.

– Нет, мы с ним на одном корабле. Наши огни не разойдутся.

Наташа засмеялась.

– Максимов, сознайтесь, что этого капитана не было, о котором вы рассказывали.

– Нет, был.

– Ну, не упрямитесь. Если его не было, то тем лучше. Легче как-то, правда?

С берега дул бриз. Море изредка вздыхало во сне: прошумит по пескам, шум уйдет далеко на запад и восток – и снова

тишина.

Мы вернулись в дом, согрели чай. Лица у всех при свече казались усталыми. Пламя свечи стояло неподвижно, за окном висела звездная тьма.

Хатидже долго смотрела на Наташу.

– Зачем вы уезжаете?

Наташа опустила лицо к столу, размешивала ложечкой сахар, неверный свет пробежал по ее рукам, опущенной голове, потом маленьким пламенем сверкнул в глазах.

– Хорошо с вами, – глухо сказала она. – Эта ночь – на всю жизнь.

По песку заскрипели тяжелые шаги. Среди бухты качался у самой воды желтый фонарь. Потом донеслось протяжно:

– Эй, на косе, давай шаланду!

Хатидже поцеловала Наташу. В темноте, смеясь и нащупывая борт, мы вошли в шаланду. Хатидже сказала:

– Я подожду вас здесь.

Отплыли, и ночь прильнула лицом к лицу. Потом вода почернела, в ней заплясал фонарь, запахло махоркой.

– Эй, на катере, примите конец!

Поднялись на палубу, попрощались. Наташа поцеловала меня и Серединского, мне сказала шепотом:

– Теперь я еще отчаяннее люблю вас.

Глухо загудел мотор. На корме стояла Наташа. Ее закутало туманом.

Наташа что-то крикнула.

– Ничего не слышно! – закричал я, стоя на корке шаланды.

И тогда из морской темноты долетел ее заглушенный туманом голос:

– Скорее в Москву!

# III. ВОЕННЫЕ БУДНИ

## Стеклянная осень

В половине июля в один из неподвижных знойных вечеров к нам прибежал рыбак Андрюха.

– Петр Андреич, война! – крикнул он, задыхаясь. – Слышите, голоса?

Мы прислушались. В домах и впрямь голосили рыбацки. Казалось, весь поселок наполнился неясным шумом, гулом, кашлем.

– Что ты мелешь?

– Урядник из Ак-Мечети приехал, – мобилизация!

Мы уже месяц не читали газет.

Весь вечер мы просидели у моря. Хатидже крепко держала меня за руку. Рыбаки не спали. Во всех домах горели огни, плакали дети, выли и лаяли в степь мохнатые встревоженные псы.

Сразу стало ясно, что жизнь скомкана, потеряны старые пути, и мы все – Хатидже, я, Наташа, Серединский – втянуты в один поток, имя которому – война и Россия.

Приковылял дед Спиридон, сел рядом и сказал:

– Так-то! Слыхали? Тараханкут затушили, значит, верно – война. На что только молодость вам дадена, зря теперь про-



падет. Эх, а жили бы тут и жили. Нету людям покою, двадцать лет прожить не могут, чтобы крови не видать. Тьфу!

Ночь мы не спали, а утром уехали в Севастополь на ржавой паровой шаланде «Виктория», шедшей из Хорлов.

Дед Спиридон стоял на берегу без шапки, опирался трясущимися пальцами на палку, смотрел на нас не моргая, и по его щекам ползли слезы.

– До смерти буду вас ждать! – крикнул он разбитым сиплым голосом, когда мы отчалили на шлюпке.

В Севастополе мы попрощались с Хатидже и пересели на «Алексея», – он шел в Одессу. Всю дорогу на «Виктории» Хатидже молчала, только перед тем как я вошел на залитый нечистотами, смятенный, голосащий пароход, она торопливо обняла меня.

Ночью подул холодный ветер. Мы забились в угол около жаркого, звенящего чугунными полами машинного отделения. Прошли мимо огни миноносца, и в сумрачном пепле потонули крымские берега.

– Сковырнулась жизнь, – сказал Серединский.

Лицо у него было помято и почернело от угольной пыли. Он поднял воротник пальто, втянул голову в плечи и долго, не мигая, смотрел, как за кормой тянется серый пенистый след.

– Куда мы, собственно, едем?

– В Москву.

– Ах да, в Москву. Конечно. Там ведь я должен являться.

Мы едем через Одессу? – снова спросил он и пусто взглянул на меня.

– Да, я думаю.

Как сквозь сон помню душную Одессу, теплый свет на широких улицах, пыльную зелень акаций, неистовых газетчиков. Я пошел на Ланжерон попрощаться с морем. Желтый и дикий под закатным солнцем, горел северный берег залива.

Я долго смотрел на юг, где сумерки сеялись голубой небесной манной, туда, в сторону Крыма, где осталась Хатидже. Там – тишина. По асфальтовой аллее Александровского сада медленно проходили трамваи с потушенными огнями.

Через день мимо окон проплыл Киев в тумане, иглы небоскребов и тополей, слюдяной Днепр, песчаные мели и вербы.

– Скоро будем в России, – радостно сказал Серединский, стоя у окна.

Безлюдные раньше станции встречали нас воем баб, хрипом гармоник и гулом голосов. Ломились в вагоны мобилизованные. Пахло от них водкой, дегтем, дождями. В разговорах все чаще прорывалось короткое слово «война».

Ранним утром мы приехали в торжественную и взволнованную Москву. Необычайным военным оживлением были полны улицы, сновали ординарцы, на Тверской шумели толпы, по кольцу бульваров стояли двуколки, орудия, громыхали обозы, носились, ревя сиренами, военные автомобили.

По вечерам к Брестскому вокзалу мерно шли полки, и на

площади у Триумфальных ворот, тускло освещенной фонарями, гремело протяжное «ура».

В Москве мы с Серединским поселились в Георгиевском переулке, на четвертом этаже. Из окон были видны Патриаршие пруды, розовые башни Кремля, сады в глубине московских дворов и золотеющие бульвары. Серединский был уже в форме прапорщика. Каждое утро он ездил на стрельбищное поле. Возвращался к вечеру запыленный, усталый.

Мы много говорили о войне, о Франции, о том, что стоит умереть ради Москвы и Парижа – двух вечных городов, двух родин.

Светились осенние дни, и на блеклой их голубизне золотилась листва опадавших лип. По вечерам в эту небывалую осень небо над Москвой сверкало купиной неяркого света, свежие ночи пахли листвой. Казалось, что весь город не спит, будто во всех домах шли приготовления к празднику. Я понял тогда, что великие несчастья ощущаются так же, как большие праздники.

Однажды мы с Серединским и Семеновым, поступившим в Союз городов, шли с Брестского вокзала по Грузинам в Кудрино. Семенов тревожился за Наташу – она застряла в Крыму. Около чугунной ограды Вдовьего дома Семенов остановился и вынул папиросу.

– Поднялась Россия, – сказал он, закуривая. – Что-то будет? Не верю я в это опьянение, не верю. Но из крови и смерти родится прекрасное и кровью будет спасена культура. Мы

подняли на плечи непосильную тяжесть и как бы не надорвались до смерти.

Ночью я проснулся от холода. За открытым окном горела белая звезда, грохотали запоздалые трамваи. Винный сок сочился из морозного сада.

Вспомнились слова Семенова. К чему это? К великой беде, как думал Семенов? Или к великим переменам? Глядя на спокойное созвездие, я долго слушал приглушенные гулы Москвы, и любовь к ней сжала мое сердце.

# Поля сражений

Вскоре я уехал на фронт с летучим земским отрядом.

Мы надолго застряли в Бресте.

«Я в Бресте, – писал я Хатидже. – Мы стоим на путях за городом. Падает снег, и впереди белым морем огня горит вокзал. Я пишу тебе в кавярне, где темно и пусто. Такая тихая ночь, что кажется, нет ни войны, ни прошлого, ни сегодняшнего дня. Я один. Мне трудно без тебя. В отряде много веселья и молодежи. В Москве много работал как санитар.

Здесь, среди солдат, длинных эшелонов, раненых и пленных, вблизи войны я начинаю понимать, как она тягостна. Я думаю о том, что в ста верстах отсюда лежат в глине, на загаженных полях наши орловские и курские мужики, люди со всей России, за спинами которых родная Москва, и стреляют в ночь и ветер, а там, за тысячу верст, – немцы, французы, бельгийцы, шотландцы, и за ними – Париж, Мюнхен, мертвый Брюгге. Я еще не понял этого, все это очень смутно, хотя мы и стараемся придать ему легкий и упрощенный смысл.

Завтра идем в Кельцы. Наш уполномоченный Козловский – поляк из шляхетской семьи. Он рассказывает невероятные истории, таращит глаза и клянется, что все это – правда. Сестры от него без ума. Сейчас он играет в банк на цифры со старшими санитарами.

Писать о том, что я передумал за эти дни, очень трудно.

Не тревожься, скоро опять напишу. Привет морю. Я с ним прощался в Одессе».

Когда мы уходили из Бреста, над ржавыми полями шли снеговые тучи. Пахло мокрым кустарником и ветром, бороздившим лужи на дорогах.

Под Луковом поезд долго задержали на полустанке. Трещали шаги по гравию. В позлащенных дождями лесах громко падали крупные капли. Вспомнилась осень у моря, в сухом дыму, ветре и треске стручков желтой акации, осень в Москве, холодная и вяжущая, как антоновка.

А теперь – осень в польских полях. Дорожные распятыя почернели от дождя. У каменной каплички краснеют клены. Со стороны Бреста слышны тяжелые удары орудий – отзвуки пробной стрельбы.

К концу этого бесконечного дня мы проползли мимо Ивангорода. В окна вагонов взглянули зеленые верки крепости и многоводная Висла с толпой раки на берегах.

За мостом нависло небо. Поезд полз по обваленной, опутанной проволокой насыпи. Небольшими, залитыми водой окопами, как норами кротов, была изрыта до горизонта земля. Обугленные ракиты протягивали к дождливому небу черные исполинские руки. В воронках от снарядов плавали жестяные консервные коробки, в грязи валялись ржавые шрапнельные стаканы, обрывки синих шинелей, изогнутые штыки, ремни и медные гильзы. Опухшие одеревеневшие трупы лошадей подымали к небу все четыре ноги, как бы мо-

ля о пощаде.

Сизая темнота набегала с востока. На западе кровавой раной истлевал закат. На разрушенной станции в лесу еврейка-маркитантка в черной шали налила мне стакан жидкого чаю и шумно вздохнула.

– Ой, бились австрияки и с нашими. Мы сидели в погребке, а сверху все время «ура», и крик, и стрелянина. А лес был совсем синий от австрияцких шинелей. Костел горит и сейчас, – в склепах задохлось много народу.

В поезде зажгли свечи. Заиграл сигнал – садиться. Звонящий, плачущий, он врезался в осенний туман, как отзвук военных становищ.

Несколько дней мы простояли около Радома. В высоких лицах около станции кричало воронье. Сестры готовили перевязочный материал, проходили эшелоны, на площадках крепко, по-хозяйски были увязаны двуколки, бегали с чайниками солдаты, и по платформе лениво шагали патрульные. Изредка проходили бесконечные санитарные поезда, выползали из теплушек раненые в бобриковых халатах – наши тульские рабочие, и татары, и косоглазые киргизы, и черные, высокие украинцы – и покупали у маркитанток колбасу, папиросы, хлеб.

# Бернардинский костел

Отряд стоял в горном местечке Хенцинах. Мы жили в каменном доме костельного кастеляна. Дуло из плохо пригнанных окон. Мы топили кафельные печи, томились от безделья, а Козловский резался в карты с офицерами из прожекторной роты.

Изредка среди ночи нас будили. При фонарях мы седлали лошадей, запрягали двуколки и по размытым дорогам, скользя и падая в вязкой глине, выезжали на позиции. Строчили пулеметы, и в ненастной ночи загорались ракеты. С железным визгом гудели над головой, то фыркая, то пронзительно распарывая небо, немецкие снаряды. Кусались лошади, спотыкались заспанные санитары. В вонючей от куриного помета халупе жужжал полевой телефон и выли раненые.

Под утро мы возвращались, качаясь в седлах и пытаясь вздремнуть. Пальцы ломило от мокрых поводьев. Раскати-сто, точно зевая, катились запоздалые выстрелы.

Однажды Козловский послал меня в тыловой склад отряда – на «базу», в Кельцы. Я ехал верхом. С лесистых холмов стекала сырость, пахло мокрой хвоей. Подобрав выше колен забрызганные шинели, прямо по лужам плелись солдаты. Желто-черный флаг над халупой этапного коменданта облинял от дождя и мокро хлопал по древку, как бабий подол. Около халупы стояли пленные немцы в рыжих сапогах,



низких, как ведра. Из-под стальных шлемов дождь стекал на щетину усов.

Когда я подъезжал к Келецкой заставе, к брошенному кирпичному заводу, где прятались солдаты с замученными, дешевыми проститутками, начался отдаленный бой. В частый гром очередей ворвался глухой удар, испуганно ахнула земля, солдат впереди меня оглянулся и перекрестился.

С трудом я вытащил застывшими пальцами смятую коробку папирос и закурил. Мокрая шерсть блестела на шее лошади. На вокзале мирно и успокоительно свистели паровозы.

В городе я узнал, что «база» ушла в Загнанск, за десять верст от Келец. Я подремал в уютном темном кафе около магистратуры, потом шагом поехал по улицам.

Я остановился около бернардинского костела, слез с седла и вошел под глухие серые своды.

Жизнь едва только начата, но как трудно будет ее окончить. Война дождевой полосой закрыла прошлое. До Хати-дже, до Наташи, до Семенова – тысячи верст. Усталость булыжником давит плечи.

«Скорее бы мир», – подумал я, опустил на колени и прижался лбом к черной спинке сиденья. Родная, нелепая Москва. В городах разгромленной Польши, среди нищеты и слез, в сырых госпиталях, где умирают вдаль от любимых, пришло ощущение, что все мы – беспомощные дети, потерявшие мать. Мы не спим по ночам, мрем от тифа, тоски и

рванных ран, никем не пригретые, подчиненные чужой, калечащей воле.

«Что дальше? И долго ли? – думал я, чувствуя холод. – Вынесу ли я себя из этого испытания?»

Я вспомнил лицо с разорванным до ушей ртом, осколки человеческих костей, кровь, что слизывали с носилок собаки, вой беженцев, детские синие трупы, чуть присыпанные дорожным песком, грабежи, повешенных евреев, пряную вонь сгоревших местечек.

На паперти костела дождь стучал по ледяным лужам, и медленно падали съеденные зимой листья каштанов.

# Затишье

В Загнанске я прожил почти всю зиму. На фронте было затишье.

Я часто ходил в горы и сидел на каменной скамье около костела и грубо размалеванной статуи Святой девы.

На чугунных могильных плитах ржавели надписи времен Сигизмунда-Августа и Александра Первого.

Изредка я писал за неструганым столом или лежал на походной койке и читал Тагора. Сестра Попова, похожая на цыганку, гортанно говорила:

– Он сумасшедший. На войне он читает Тагора и каждый день бреется.

Однажды ее вызвали к больной в соседнюю деревню. Я поехал с ней.

В халупе, где лежала больная девочка, рябая баба ставила в печку горшки с кислым варевом. Пахло холодным дымом из боровов и прелым тряпьем. Под лавками урчали сытые куры. Я зажег спичку.

– Где больная?

– Там, на лавке.

Попова подошла к ней.

– Странно, – сказала она. – Идите-ка сюда. Она, кажется, мертвая.

Глаза у девочки уже остекленели. Я поднял тряпье и взял

ее руку. Рука была холодная.

– Тетка, – сказал я громко, – девочка-то твоя умерла.

Баба молчала.

– Дочка твоя умерла, – громко повторил я и осветил спичкой лицо с прилипшими волосами.

– Эге, – ответила баба и поправила волосы. – Еще днем померла.

– Что же ты не приберешь?

– Нема часу. Солдаты дали говядины, мужику надо борщ сварить. Пускай полежит.

– Как же это? – тихо спросила Попова. – Может быть, она не мать?

– Это твоя дочка?

– Эге, моя. – И женщина снова завозилась с горшками.

Я посмотрел на девочку, на опустившиеся плечи сестры, на солдата в папаче, который вошел и, нелепо вытянувшись, стоял у двери, и вспомнил смерть Винклера.

– Пойдем, – сказал я сестре.

Ночь ползла с холмов. По мокрым колеям прыгали огни фонарей, – бродили и ругались обозные солдаты. На обратном пути мы молчали.

По вечерам, когда день, желтый, как мокрая вата, затягивался туманом, я ложился на койку и читал «Гитанджали». За низеньким оконцем, шлепая по месиву снега и грязи, ходили солдаты.

– Ну и зима здесь, матери ее черт!

За стеной, в «команде», тренькала мандолина и надтреснутый тенор скучно пел:

В голове моей мозг иссыхает,  
Кровью сердце мое залило...

– Полещук! – кричал со своей койки студент Вебель – начальник «базы». – Долго он будет скулить?

– Не могу знать, – оторопело отвечал из сеней Полещук.

– В карты в команде режутся?

– Никак нет.

– Смотри. Приду – опять карты порву.

Иногда, почему-то всегда вечером, из отряда приезжал обоз за продуктами. За стеной начиналась возня, кусались лошади, кричали и матерились солдаты, заезжали во двор, цепляя в темноте за ворота, и привозили новости: на позициях тихо, старшую сестру увезли в Москву, погода скаженная, и под Гербами поломали дышло.

Потом мокрый солдат приходил в халупу, становился у двери и, вытерев нос рукавом, вытаскивал из-за обшлага письма.

Прибегали сестры – Попова и Малеева, курсистка-медичка из Каширы, глупая и смешливая, – и мы садились пить чай.

Иногда шла с факелами, грохоча кованными колесами, артиллерия. Крупной рысью заезжали вперед темные фигуры в

блестящих от дождя плащах, и шелкали нагайками ездовые.

В халупе ночевали проезжие офицеры: воспитанные артиллеристы, и простоватая пехота, и задерганные тыловики – начальники облезлых гуртов и обозов. По утрам к ним робко являлись потерявшие голос от страха солдаты «крестоносцы» и начинали один и тот же разговор:

– Где ты коров растерял, раззява? – кричал измученным голосом начальник гурта. – Подлые твои глаза, борода!

Борода мигала воспаленными глазками, мяла изорванную папаху и молчала.

– Чего молчишь, как колода?

– Дохнут с дождя, ваше благородие, – отвечала наконец борода сиплым шепотом.

– Дохнут? Где шкура? Знаешь приказ – шкуру с дохлой сдирать. Ну, черт с тобой, пошел вон!

Офицер жалобно отдувался и садился пить чай.

Я получил письмо от Алексея: «Узнал от одного из санитаров твоего отряда, что ты в Загнанске. Мой отряд стоит в Скаржиско. Приезжай. Мне вырваться трудно».

Ночью я думал о встрече с Алексеем и о Винклере. Его смерть я вспоминал теперь часто. Он умер на пороге войны. Ему не пришлось узнать ее тоскливые будни, ее скрежещущие бои, бесплодные мысли, увидеть города, превращенные в отхожие места, промокших до портянок солдат, вонючие раны и желтые выпученные глаза трупов.

# Звезда над городами

За окном синело. Далеко прогремел один удар, потом второй. Вскоре удары слились в глухой гром.

– Не спите? – окликнул меня Вебель.

– Нет.

– Слышите, как разгорается? Опять немцы пошли в наступление.

Он закурил. Я натянул на голову шинель и попытался уснуть.

– Звезда над городами, – сказала во сне Попова.

Далекий гром перебивали короткие и веские удары.

– Тяжелая ввязалась, – пробормотал Вебель и сел на койке. – Надо сказать, чтобы взяли лошадей в хомуты. К утру, должно быть, все двуколки вызовут в Хенцины.

Я встал. За окном голубой парчой летали снега. В тронутым янтарями небе празднично вычерчивались горы.

– Видите, я был прав, – сказал Вебель и вышел навстречу ординарцу, постучавшему в окно.

Через час я выехал с обозом двуколок в Хенцины. Ехали обе сестры. Раннее солнце розовым паром заволокло долины. Горные дороги были крепко сбиты морозом.

В дороге я спросил Попову:

– Что вам снилось ночью?

Попова покраснела.

– Разве я говорила во сне? – быстро спросила она. – Скажите, что я сказала, тогда я, может быть, вспомню.

– Вы сказали: «Звезда над городами».

– Ах да. Мне снилось, что я иду ночью по берегу озера с Ксендзом и Козловским. Вдали был город, будто Москва, и над ним огромная звезда. Ксендз показал на эту звезду и сказал по-польски: «Вот звезда, которая восходит над всеми городами, обреченными на гибель». Мы все шли и шли, и вдруг я увидела Кремль, и Арбат, и Пречистенку. Я заплакала во сне, а Козловский, чтобы утешить меня, дал мне букетик фиалок и сказал: «Не плачьте. Эти фиалки собрал шофер Махалин на том месте, где была Москва». Потом тысячи черных солдат с винтовками бежали мимо нас и спрашивали дорогу на Люблин. Офицер с разодранным в клочья лицом бешено проскакал на коне и крикнул, что надо стрелять по звезде.

– Пророческий сон, – сказал я, всматриваясь в снежные дали.

В Хенцинах мы напоили лошадей и на рысях пошли к Шевелям, где развернулась летучка. Навстречу дико скакали зарядные ящики, тупо дрожала земля, и к небу подымался желтый дым разрывов. В канавах у шоссе сидели солдаты в походном снаряжении и смотрели вперед, вдоль дороги, где горел фольварк.

Низкая шрапнель рванула воздух и частым треском зашелкала по шоссе.



– Иии-х ты! – вскрикнул впереди верховой солдат и пустил лошадь вскачь.

Снова резануло воздух. Глухой удар вырвался из леса.

– Дорогу обстреливают! – закричал Полещук и показал на синеватые холмы. – Гляди!

Там блеснуло два желтых огня, стремительно завыло небо, и нестерпимый пламень ударил в канаву позади двуколок.

– Пускай вскачь! – крикнул я санитарам и задержал коня, пропуская обоз.

Далеко, задыхаясь, строчили пулеметы. Снова небо обрушилось на голову. Снаряд пролетел с тяжелым храпом и ударил позади в канаву.

– Заметили!

Впереди был лес, и надо было проскакать несколько минут по открытому полю. На снегу лежали длинные лиловые тени.

«Где я видел такие тени?» – думал я, торопливо нахлестывая коня. Ветер свистел в ушах, я видел только мокрую лошадиную шею и в десятый раз повторял все одно и то же: «Где я видел такие длинные тени?»

Из-под копыт летел щебень.

– Антонов, не отставай!

Дым пахнул в лицо, осколок свистнул под ногами коня, подняв вихрь снега. Конь присел, вздрогнул широким крупом и скачком бросился в сторону. Слева у гнилого пня бы-

ла разворочена красная глина, и из нее шел желтый пар.

В лесу обоз свернул с шоссе и пошел по кочковатой дороге. Снаряды ложились позади. Передняя двуколка с сестрами свернула в сторону и остановилась.

– Сюда, ваше благородие, – крикнул глухо Полещук и махнул рукой. – Сестрицу зацепило.

Я подъехал. Малесва крепко держала за руки Попову.

– Что, ранена?

– Ничего страшного, – со свистом сказала Попова и рванулась из пухлых рук Малеевой. Лицо у нее почернело. – Перевяжите скорей.

Я разрезал мокрое платье. Острая маленькая грудь была разорвана осколком ниже соска. Я туго и осторожно забинтовал ее. Малеева кусала губы, косынка у нее сползла, русые волосы прилипли к потному лбу. Лес треснул от разрыва, и ветер захлопал по полотняным верхам двуколок. Попова легла, ее укрыли шинелью. Санитары крестились.

– Принесла холуйская сила, – сказал Полещук. – Солдат бьют и сестер бьют. Она, можно сказать, совсем дите.

Попову я не видел до позднего вечера. Небо грохотало и сотрясалось, и кровь капала с носилок на унавоженный снег, в лошадиную мочу и слякоть. Воняло потом, махоркой и ксероформом. Подоженные снарядами деревни чадили без огня, пропитанные сыростью. Раненые выли и собачьими глазами смотрели на окровавленные руки врачей. Бой затихал.

Ночью я провожал обоз раненых до Хенцин. В передней

двуколке лежала Попова.

Было тихо и сыро. Слабо скрипели колеса. В стороне от дороги горели костры, меня качало в седле, и во сне я слышал, что Попова что-то бормочет.

– Молчите, – сказал я, согнав дремоту. – Вам нельзя говорить.

Над Хенщинами, разбросав веером хвост, качалась Большая Медведица. Я спал, шатаюсь в седле.

# Панна Гелена

В Загнанске нас ждал Козловский. Он собирался в Брест. – Я возьму вас и санитара Щепкина, – сказал он мне. – Вы были в передраге, и вам надо рассеяться. На фронте все равно тихо.

Меня поразило это слово «рассеяться». Брест, мраморные столики кафешек, гулкий вокзал, московские газеты, лица юных сестер – это значит рассеяться. Разбросать свое внимание на тысячи спокойных мелочей, смотреть на отблески солнца в вокзальных стеклах, читать статьи о Художественном театре, выставках и книгах. Разбить на тысячу осколков свою напряженную мысль, запутанную войной.

Я согласился. Перед отъездом я поднялся к костелу. Внутри едва слышно служил ксендз. Стоя на мшистой паперти, я написал открытку Хатидже:

«Три месяца нет писем. Очевидно, они теряются по полевым конторам. Я даже не знаю, где ты. Я втянулся в суровую жизнь войны, и часто у меня бывает ощущение, точно вернулись времена „Войны и мира“. Где-нибудь на широких шоссе во время отступления я встречу тебя и найду тогда смысл всего совершающегося, который я никак не могу найти сейчас. Здесь Алексей, я завтра его увижу. Еду на неделю в Брест».

Я подумал и написал вторую открытку Наташе:

«Я жду от вас писем. Мне очень трудно оставаться наедине с собой в здешние злые ночи. От канонады, грязи и бабьего плача всегда болит голова».

В Скаржиско на вокзале я встретил Алексея. Мы расцеловались. Он отодвинул меня, осмотрел и сказал:

– Ну вот, свиделись. Ты здорово подтянулся.

Тут же на вокзале мы столкнулись с Козловским о том, чтобы взять Алексея в наш отряд.

Козловский и Щепкин уехали, а я остался до утра в Скаржиско. Мы ходили с Алексеем в дощатое холодное кино, где Макс Линдер учился кататься на коньках, много говорили. Я рассказал ему о смерти Винклера.

– Да, – сказал он. – Глупо умер старик. А Сташевский тоже здесь, на фронте, под Ломжей. Георгия получил.

Ранним утром я уехал в Брест. За Радомом было солнечно, а около Бреста застал нас вечер, золотой от вагонных свечей и синий от ранней весны.

Козловского я разыскал в общежитии Союза городов. Он был возбужден: встретил знакомую сестру, бывшую артистку. Когда я вошел, он сидел и брился. Бородатый солдат – денщик при общежитии – чистил его сапоги.

– Друг мой, – сказал Козловский, тщательно разглядывая свой подбородок. – Почистите сапоги, и пойдем в гарнизонный клуб – там концерт. Я познакомлю вас с очаровательной женщиной. Когда-то я был в нее влюблен.

Он вытерся одеколоном и запел:

Голос твой – пенье задумчивой сказки,  
Сладкая боль небывалой весны...

В клубе было темно и тесно. Звенели шпорами выхоленные кавалеристы, скромно стояли у стен серые прапорщики с вылинявшими погонями, гремел хриповатым басом седой вертлявый генерал.

Я сидел рядом с панной Геленой. Резкий запах ее духов не давал мне уснуть. Разбитое тело ломило в тепле. Козловский шепотом рассказывал невероятные истории о дрессированной кошке, которая носит приказы в окопы.

– Но кто над могилою едет... – пел басом бледный офицер, – знамена победно шумят...

Я дремал и видел полки призраков – солдат старой гвардии в снегах Москвы и впереди, среди шумящих по ветру знамен, корсиканца-императора.

И встанет к тебе, император,  
Из гроба твой верный солдат.

Мне снилось, что я живу в старом Париже, встречаю императора и его маршалов, читаю желтоватые страницы Руссо, поглядывая из окон мансарды на Тюильри, озлащенный пышным закатом. Мне снились знамена с бронзовыми орлами на древке и старый камин, где горят сосновые щепки. Я мечтал при его огне об Адриенне Лекуврер, маленькой ар-

тистке в розовом парике, отравленной неизвестным ядом. В ветхом камзоле я бродил по заросшим ромашкой предметьям, играл на пальце перстнем с профилем Робеспьера и гадал, в какие новые и великолепные одежды облачится завтра этот мятежный город.

– Бедный, как он устал, – сказала панна Гелена и тронула мою руку. – Проснитесь.

Я открыл глаза, вздрогнул от холода, и в ту же минуту па улице запела труба. В церквах зазвонили. Все встали и, теснясь п перекликааясь, двинулись к выходу. Эстрада опустела.

– Цеппелин, – сказал кто-то в толпе.

За стеной прогремел тяжелый гром, и еще тоньше задрожали трубы. Мы вышли. В спиртовом свете тающего снега темнели метлы вековых тополей. Без огней прошел, мягко прыгая на ухабах, автомобиль.

Потом бледная молния прорезала небо, и над нами звонко раскололась первая шрапнель. Через минуту со всех фортов запели и загудели снаряды, снова грузный гром потряс дома, и в стороне вокзала поднялось неяркое пламя.

В небе засуетились, мешая друг другу, прожекторы.

В общежитии я вышел на балкон и смотрел на светящиеся хвосты снарядов.

Весенняя тишина стояла между взрывами – сырая, черная, печальная.

Я чувствовал тугую неприятную усталость. Ворочаясь под шинелью, я услышал, как Козловский раздевался и пел впол-

голоса «Голубое письмо» Северянина:

И веют жасмины, и реют гобои,  
И реют гобои, и льется луна.



# Большой фонтан

На третий день, когда я лежал на койке, пришел Козловский и сказал, что меня командируют в Одессу принять с завода новые двуколки. Поеду я со старшим санитаром, студентом Щепкиным.

– Вам придется выехать сегодня вечером, – строго сказал Козловский. – Через десять дней вы должны быть в отряде. Дело срочное. Щепкин вахлак, негр бамбула, но с ним вам будет хорошо.

К вечеру пришел Щепкин – рослый, упитанный, в потертой до дыр кожаной куртке. Он не торопясь выпил пять стаканов чаю, рассказал, как надо покупать швейцарский сыр, прокашлялся, запел «Хвала тебе, бог Гименей...», сбился и сказал:

– Ну, что же. Поедем, что ли?

– Едем.

– Пан Козловский! – крикнул он в комнату панны Гелены. – Прощай, старина. Что-то ты надолго окопался в тылу?

Мы попрощались и уехали.

На второй день за окнами пошли бесснежные степи. Был март. Бабы продавали на станциях топленое молоко и бублики.

В Одессу мы приехали к вечеру. Сырая весна пришла вместе с ночью, обдула теплым ветром вагоны и степь. С вокза-

ла я послал телеграмму Хатидже в Севастополь и Семенову в Москву.

Ночевали в подворье Афонского монастыря около вокзала. Рано утром по улицам, затопленным нестерпимым одесским солнцем, мы прошли на бульвар к памятнику Ришелье. Голубые туманы залили порт и город. Был блеск солнечных морских миль над свежей водой, свет полуденных стран, хрустального неба и ветра, душистого, как ранний миндаль. В зеленой вымершей гавани стальным утюгом серел броненосец «Синоп». Женщины продавали под акациями первые цветы. В порту качались у молов синие и белые шхуны, дымил желтой трубой одинокий транспорт. Улицы пахли морем и лимонами.

Щепкин был подавлен – он первый раз видел море.

– Да-а, – сказал он. – Вот это вещь. Да мы что – в России или нет? – И он нерешительно засмеялся.

В кафе Фанкони я рассказал ему о старой Одессе, о богатстве этого города, о греческих пиратах, выстроивших в городе дворцы, обильном торге и тех временах, когда набережные были засыпаны золотым житом, а объевшихся сизых голубей давили ломовые дроги.

Под тентом ходил средиземный ветер, яростно кричали за столиками на чудовищном одесском языке евреи в котелках.

Перебирая четки, ворковали греки. Женщины пылали карминными губами.

– Вот что, – сказал я Щепкину. – Я хочу два дня, пока не

готовы двуколки, провести у моря. Я поеду на Фонтан, а вы уж тут как-нибудь один проскучаете.

Днем я получил телеграмму от Семенова:

«Сестра уехала на фронт южную Польшу думает найти вас. Свинство долго не писать. Семенов».

От Хатидже ответа не было.

На Фонтане я поселился в монастырской гостинице.

В гостинице не было ни души. Я снял комнату с окнами на маяк. Всю ночь шумел ветер в акациях, я просыпался, глядел на разметанное золото звезд за окном и думал, что война – это только мой бред, что за белыми стенами гостиницы, в тишине этой ночи, я далек от войны, я снова прежний, что мои глаза снова блестят и велика моя любовь к каждому дню.

Сумбурна жизнь, но все же полна осязаемого смысла. Вся она, с ее любовью, голодом, смехом, сражениями, – как непрерывные и внятные толчки к созданию самого себя.

Я подумал о любви ко мне Хатидже и Наташи, и она встала передо мной как бы в легкой памяти снежных далеких лет.

В тысячный раз я почувствовал, что самое прекрасное в жизни выше моих сил.

Галилейский бродяга говорил о терпении. Легче умирать, когда прекрасная Магдалина стирает рыжими волосами грязь с исхудалых ног, но трудно умирать, уткнувшись лицом в липкий человеческий кал в окопах, залитых мочою, когда в голове киснет австрийская пуля. Трудно тогда умирать, и нельзя говорить о терпении.

Вечером я лежал на скрипучей кровати и читал. Жарко топилась печь, – вечер был очень холодный. С моря наносило туманы. Со стороны Одессы светили по мутному небу прожекторы.

Я укрылся шинелью, по временам откладывал книгу и думал. Думал об одинокой тоске чудаков, слоняющихся по земле с пустым футляром от скрипки – оправой от потерянной радости. Как много людей с околевающей душой, жалких в своем ребяческом величии! Я вспомнил Оскара, Гарибальди, Винклера, многих других безродных, брошенных. Имена их давным-давно стерлись на дешевых могильных крестах.

Они обладали душой богатой и горячей, но никто не дал им ни одной капли радости. Сердце пылилось, мозг работал, как ржавая машина, горечь пропитывала тело и напоминала о старости, о синих жилах на шее, о выпавших зубах.

Туман спустился и стучал редкими каплями по жестяному подоконнику. Всю ночь я пролежал без сна.

Утром я ушел пешком в город. Ржавые сады пылали над морем, гипсовые статуи около дач подымали к солнцу бледные лица.

В неприбранной комнате подворья я застал Щепкина. Он умывался. Вытираясь грязным полотенцем, он рассказал, что двуколки готовы и он их принял. На заводе получена телеграмма от Козловского: не задерживаться в Одессе, грузить двуколки и возвращаться в отряд.

Я прочел телеграмму и бросил ее в угол. Вечером мы уеха-

ли в Люблин, куда, как телеграфировал Козловский, был переброшен отряд.

## Ваша свеча короче

В Люблине отряд стоял в пустом дрожжевом заводе. Вокруг был заросший одуванчиками, мощный каменными плитами двор. Из окон виднелись белые громады костелов и туман за рекой.

Козловский шумно обнял меня и Щепкина.

– Для вас есть приятная новость, – сказал он мне. – Алексей уже здесь. Он толковый парень и не дурак выпить. Сейчас он в городе, он жаждет вас увидеть.

Весь вечер болтали об Одессе, о том, что отряду дали двухнедельный отдых. Алексей пришел поздно.

– А-а, – сказал он радостно. – Приехал, странствующий рыцарь.

Отрядом он был доволен. Не нравились ему только Люблин и поляки. Особенно он негодовал на то, что даже машинисты на паровозах носят стоячие воротнички.

– Обезьяны, – говорил он возмущенно. – Наденет кургузый пиджачишко, клетчатый галстук, пристегнет манишку, и он уже пан.

Ночью Козловский, Алексей, Щепкин и Вебель играли в преферанс и долго ссорились. Была страстная суббота. По городу горели огни, в костелах бренькали колокола.

Днем я купил у цветочниц несколько букетиков крупных фиалок – подарок сестрам. Попова попросила приколоть ей

фиалки к белому переднику, – она еще не могла двигать рукой.

Мы пошли в бернардинский костел.

Алексей притих. Козловский опустился на одно колено и театрально молился. Торжественно и гнусаво пел старый ксендз с кружевными рукавами, и тихо вздыхала толпа.

Я стоял на паперти и всматривался в лица женщин, смутно надеясь увидеть Наташу. Может быть, она здесь, в Люблине.

– Кого вы ждете? – тронула меня за рукав Попова. – Наши уже давно вас ищут.

Десятками золотых пчел растекались по улицам свечи. Когда налетал ветер, Попова брала мою свечу и прикладывала к своей, – двойной огонь не загасал от ветра. Дома она сказала:

– Ваша свеча короче. Вы умрете раньше меня.

В тонкий туман, в белые пасхальные одежды закутался город. Мы бродили до вечера по извилистым средневековым улицам, по кварталу «гетто» с желтыми и голубыми домами. На порогах грелись рыжие кошки и сидели старые еврейки в пестрых шалях. За нами гамливой толпой бегали кудреватые дети, а старые реббе в черных картузиках с рыжими бородами и круглыми выпуклыми очками кричали им – гей авек! – и хватали то одного, то другого за ухо.

В Саксонском саду в сумраке, в золотеющем тумане молодого месяца распускалась сирень. Оркестр играл негром-

ко и печально.

– Какой мелодичный вечер, – тихо сказала Попова. – И рана у меня так слабо ноет, заживает. И сирень, и огни – так все хорошо, прямо до слез. Кто это выдумал войну? Кому это нужно!



## Трупы в реке

Уже месяц, как мы стояли на Сане, мутном и быстром. По ту сторону тянулся сосновый лес, желтый от брошенных окопов. День и ночь нашу халупу заносило пылью. Песок трещал на зубах и разъедал глаза.

По неровной насыпи проползали воинские поезда, медленно шли по деревянному мосту над шумящей рекой. Ночью ярко бродил по берегу сноп полевого прожектора.

Под горячим ветром в песках трепыхался наш изорванный заплатанный флаг Красного Креста.

Шли частые, спутанные и странные бои. Привозили молчаливых, сожженных ветром раненых, по ночам явственно громыхали орудия за Розадовом, и выли одичалые псы.

Изредка приезжал из Люблина, из «базы», Вебель с кипой газет, писем и ящиком папирос Габая «Ява» в зеленых коробках. В летучке начинался праздник. Мы зачитывались газетами и накуривались до одурения. Козловский переставал вздыхать, сестры оживали. Попова жила в Люблине у Вебеля, – у нее снова открылась рана.

Вечером мы ходили к желтому Сану и просиживали на берегу до поздней ночи. Немолчно шумела река, качая в мутной воде громадные звезды.

– Это к жаре и засушью, – говорил Щепкин.

Раскаленные пески, исполинское ржавое солнце, весь

день дымившее над горелыми лесами, тепловатая вода в колодцах – все это измучило нас, мы замолкли, редко говорили друг с другом, ждали. Однажды сестры вернулись после купанья бледные, раздраженные: по Сану плыли раздутые смрадные трупы.

К ночи разгорелась канонада. Я ворочался на койке и слушал, как за Саном от края до края земли перекатывался железный гром. Было душно, кисло, около свечи густо жужжали мухи.

Я встал и вышел. Высоко в небесном колодце стоял месяц. Вода в Сане вздрагивала лунной рябью от ударов орудий. Небо розовело далеким пожаром. Я медленно пошел к мосту.

– Стой! Кто идет? – испуганно и негромко окликнул меня часовой.

Я отозвался.

– Господи, господи, – сказал часовой молодым голосом. – Когда-то будет конец?! Зло так за душу и берет. Нет тебе ни днем, ни ночью ни сна, ни покоя: то наступление, то отступление. Толчем землю на одном месте, как стадо. Для кого, для чего – никто толком объяснить не умеет. Поля дома небось не засеяны, бабы обрюхатились. Скотина пропадает.

Он стукнул прикладом о настил моста, поглядел на зарево и сказал:

– Горит... Кому от этого какая выгода, что Польшу изма-терили, затоптали вконец. На этом поле колос расти не будет.

Сказывают, германцы опять нажали, опять прорыв.

Я вернулся в халупу. На дворе около костра сидели Вебель и Алексей.

– Что вы шатаетесь по ночам, – сказал Вебель и вздрогнул. – Спали бы лучше! Слышите, как заводят. Не люблю я этой штуки, накличут беду.

– Тоска, – сказал Алексей и зевнул. – Бессонница. А надо бы выспаться: не сегодня-завтра попрем опять по ступицу в песках.

Вебель курил, и огонек папиросы поблескивал в его насмешливых острых глазах. В халупе глухо заорал уцелевший петух. Судорога канонады передергивала душную тишину.

Я пошел к двуколкам и лег на сене, прислушиваясь к орудейному бою. Поля тяжело дрожали.

# Макензен

Мы отступали. Около песчаных, разбитых обозами дорог горели несметные костры – становья беженцев. Разметав сверкающие хвосты, тосковали над черными польскими полями забытые звезды. Дым костров мешался с болотным туманом.

Ночью мы качались в седлах, тяжело разлепляли глаза и останавливались, наезжая на передних.

– Стой! Сто-о-й!...

Часами стояли около мостов в заторах, ежась от сырости, поглядывая назад, где низким заревом горели в пыли деревни. С высоких придорожных распятий глядел на нас угловатый, обугленный Христос.

Через Люблин проходили ночью. Его извилистые улицы были запружены обозами. От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, метались женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы. По белым карнизам зданий бегал красный свет факелов.

Шагом, по тротуарам, ругаясь и сбрасывая с дороги узлы с вещами и поминутно останавливаясь, мы добрались до пустынного переулочка, где стояла «база». Пахло цветущей липой, многоголосо шумела отступающая армия.

Во дворе «базы», около каменного фонтана, навьючивали фурманки, был слышен резкий голос Вебеля. Я придержал

коня и посмотрел в глубь переулка, в сумрак липовых садов. Далеко, золотясь в темной листве, всходила предрассветная луна.

Пока «база» сворачивалась и взволнованные санитары выводили лошадей, я поднялся наверх, в мезонин к Поповой.

– Как я благодарна этому отступлению, – сказала Попова. – Наконец-то! Я так измучилась здесь одна! Скажите, что это? Почему так уходят?

– Макензен, – ответил я и закурил папиросу от лампы с зеленым абажуром. – Немцы прорвали фронт.

– Какие-то вы все стали иные, – сказала она, вглядываясь в меня. – Постарели на десять лет.

– Ну, как вы? Как рана?

– Уже проходит. Здесь было так тихо, славно. Со мной жила только хозяйка – старая панна в наколке – и ее маленький племянник. Они ушли в дом ксендза, им стало страшно. Я боялась остаться одна, я думала, что вы не найдете нас в этой каше и пройдете мимо. Вебель тоже волновался.

За садами шли обозы – будто лилась по камням грохочущая горная река. Во дворе заиграла труба.

– Сбор. Идемте.

– Погасите лампу, – сказала Попова. – Как мне жаль эту комнату.

Я задул лампу. За открытым окном над верхушками деревьев мутно краснело небо, дул порывами горячий ветер. Он

сорвал с подоконника и унес в сад какие-то старые письма.

# Страна Шопена

В Вышницы пришли под вечер. В клубках пыли, поднятой стадами, висел изорванный флаг коменданта. Бегала по дворам местечковая милиция – старые евреи с красными повязками на рукавах – и сгоняла женщин на окопные работы. Иссохшие поля были густо уставлены беженскими фурманками. Ревели, захлебываясь, дети, и тоскливо мычала скотина.

– Сгубла Польша, – сказал спокойно Козловский, когда мы сошли с коней. – Видели, около дороги из песка торчат детские ноги? А беженские свиньи раскапывают и едят эти трупы.

– Zginela Polska! – повторил он почему-то по-польски и махнул рукой. – Великая земля, взрастившая Шопена.

Ночью мы обходили фурманки. Почти на каждой были тифозные. Тяжелый смрад висел над полями, больные терли красные глаза, засыпанные сеном, и дико смотрели на огонь наших карманных фонариков. Дымили в черное небо жалкие костры. Около вычерпанных до дна колодцев мужики дрались из-за ведра жидкой глины.

Мы завели походные котлы и на рассвете начали раздавать беженцам похлебку.

До позднего утра вокруг котлов ревела и металась толпа, старухи, свистя и задыхаясь, пили похлебку из мисок, бабы, с тощими, выкрученными, как белье, грудями, совали пла-

чущим детям в рот куски серого мяса.

Черные мужики бродили, что-то выискивая по полям. Низкий дым и запах горящего тряпья сочились из местечка.

Час спустя, когда мы сидели в тесной клетушке, а за пергородкой шушукались старые панны-хозяйки, пришел комендант и грубо сказал:

– На ночь поставьте часовых у двуколок. Иначе у вас снимут все колеса. Тут кругом разбой и грабеж. Видите, половина домов без крыш: тащат все на костры. А эта обозная сволочь забила все дороги, раскрала все на двадцать верст. Кругом армия, а у них тиф. Все колодцы вычерпали, все реки загадили.

Он закурил и сломал спичку.

– Каждый день встаешь зверем, дерешься, солдат вгоняешь в кровавый пот. Война. Она кому мать, а кому и... мать! – выкрикнул он с сердцем.

Вечером пришел приказ отходить к Бресту. С позиций шли глухие и непонятные слухи. Алексей ушел с тяжелым обозом вперед и должен был ждать нас в местечке Пищиц, в двадцати верстах от Бреста.

Ночью я несколько раз выходил курить на крыльцо. Около коновязи кусались лошади и ходили, поругиваясь, часовые. Верстах в десяти разгорался бой.



## Чужой отряд

В Пищице мы Алексея не застали. Был вечер. Заспанный комендант порылся в записях, расспросил квартирьеров и сказал, что отряда такого не было и чтобы мы оставили его в покое.

– Вот что, – сказал мне Козловский. – Алексей, должно быть, пошел другой дорогой и завяз в песках. Там пески по ступицу. Вы останетесь здесь и будете его ждать. Если станет опасно, уходите в Брест и потом на Чевнавчицы.

– Ладно.

Он перекрестил меня и поцеловал.

– Не сидите только до последней минуты, – сказал он, садясь на копя. – Дело скверное. Уже рвут полотно.

Со стороны Лукова были слышны взрывы. Обоз тронулся. Заспанный квартирьер проводил меня в дом при костеле.

Шумел мокрый сад. Двери в доме стояли настежь, в комнатах не было ни души. Солдат достал мне свечу и принес чаю.

Я поставил коня в сенцах, закрыл ставни в низеньком зале и лег на пол, укрывшись шинелью. Конь с хрупом жевал овес и топтался по ветхому полу. В дальней комнате мяукал котенок.

Я прилепил свечу к полу, достал из полевой сумки «Дальний край» Зайцева и начал читать. Стенные часы долго ши-

пели и пробили четырнадцать раз.

Я читал о Москве, об обществе «Козлорогов» и громко смеялся. Редко была артиллерия, и после каждого удара долго тренькали стекла.

Прошел час, другой. Квартирьер постучал в дверь и доложил, что на площади остановился отряд – может быть, тот, которого я дожидаюсь.

Я накинул шинель и вышел. Отряд был чужой. В темноте прошли сестра и мужчина в шинели. Мужчина остановился и попросил закурить. Это был врач, один погон у него болтался на ниточке.

– Вот сестра ищет Третий сибирский отряд, – сказал он, закуривая. – Вы, случайно, его не встречали?

– Я из этого отряда. Отряд прошел днем на Брест.

Сестра схватила меня за руку.

– Наташа? – тихо спросил я. – Неужели вы?

– Я, родной, – сказала она одними губами, – Доктор, вы не беспокойтесь, я найду отряд.

– Ну ладно, – сказал врач и усмехнулся. – Уж эти мне сестры!

Он позвал меня в свой отряд пить чай с ромом и ушел.

Наташа положила руки мне на плечи и долго вглядывалась в лицо. Светили звезды.

– Я совсем не вижу тебя, – тихо сказала она, первый раз говоря мне «ты», и прижалась головой к жесткой шинели. – Как я измучилась! На этой сумасшедшей войне я ради тебя

раздала людям столько любви! Я искала тебя. Я надеялась, теряла надежду и была совсем больна, и вот теперь... мне надо рассказать тебе много, страшно много...

Она заплакала.

– Милый, родной, – говорила она, как в лихорадке. – Я стала совсем сумасшедшей. Вокруг болеют тифом, ненавидят, жгут деревни и бросают в колодцы трупы грудных детей, а над всем этим – моя любовь к тебе. Как же это случилось? Я ничего не понимаю.

Мы прошли в сад. Ветер шумел у заборов в мокрых кустах, гулко катились одинокие выстрелы. Мы ходили в темноте по заросшим дорожкам. Я рассказывал о войне, о том чувстве печального и прекрасного, которое тяготеет над каждым моим днем.

– Зачем ты пошел на войну? – резко сказала Наташа. – Она замучит тебя. Ты должен уехать отсюда какими хочешь путями. Дай мне слово. Через месяц я вернусь в Москву, и ты должен быть там. Будет уже осень, мы уедем в деревню, ты станешь много читать и забудешь об этом ужасе. Надо сберечь себя, пока не кончится это дикое время. Тысячи других, мы все можем идти сюда, в грязь, в кровь, во всю эту злобу, но не ты. Не ты! – крикнула она и встала со скамейки. – Ты должен дать радость сотням людей. Потому так и любят тебя, любят, как я, – слепо, навек. Я не могу это передать. Дай мне слово, что ты уедешь отсюда.

– Хорошо.

– Как ты устал, – сказала она тихо и поцеловала меня.

В болотах кричали лягушки, огонь стих, с лип падали мокрые листья. На костельной паперти сидел и стонал глухой старик – костельный сторож.

– Дедушка, – спросила Наташа, – ты что?

– Все ушли в Брест, – ответил старик и сделал попытку встать. – Ксендз и все, родная паненка. Я остался сторожить костел. Старый я, не дойду, умру в дороге.

– Пойдем, дед, – сказал я, подымая его за локоть. – Завтра поедем в Брест, найдем ваших.

Старик снова заплакал.

– Дал бы бог. Хоть умереть со своими. А то – один. Герман близко. Хотел напиться – в колодце лежит убитый.

В отряде санитары накормили его и положили на фурманку.

Ночь я провел в чужом отряде. Было суетливо и шумно. Наташа не отходила от меня, часто смотрела мне в глаза, и губы ее дрожали.

К утру густо, вразброд, пошла через местечко истомленная пехота, и отряд снялся. Я попрощался с Наташей за околицей. Она погладила мои руки, хотела что-то сказать и промолчала.

Я шел обратно. Над шоссе взрывался черный дым фугасных снарядов, у колодца сгрудились пыльным сугробом солдаты и пили мутную воду из закопченных манерок. Они молча глядели на меня.

В полдень пришел с обозом охрипший, осунувшийся Алексей.

# Конец

Дни тянулись в безысходных и тяжелых боях. Гром за Бугом не смолкал, в Бресте взрывали крепостные форты, и по ночам раскатисто и страшно ухала земля. В серых и пыльных деревнях валялись тифозные, шел повальный грабеж, сладковатый смрад конской падали перехватывал горло.

В полях желтели цветы горчицы. Закаты были пламенные и холодные.

В Бресте я узнал, что отряд Наташи ушел с Четвертой армией в Кобрин.

Дороги скрипели от беженских обозов, ночью дымно пылали тысячи костров, и штабные автомобили резали лучами белых фонарей пыльную мглу.

Каждый день привозили раненых – злых, обросших кровавой коркой и молчаливых. На расспросы они коротко и неохотно отвечали – «измена».

Это слово прокатилось по фронту, перекинулось в глубокий тыл, и там, в курных халупах и еврейских местечках, где стояли тысячи солдат и офицеров, началось глухое волнение. Ползли упрямые и страшные слухи. Имя Мясоедова шепотом повторялось всюду. Артиллерия отступала впереди обозов. На все вопросы артиллеристы отвечали: «Снарядов нет, измена, палками бейтесь с германцами».

Как-то ночью мы шли целиной, сбившись с пути, и искали

выхода на Слонимское шоссе. Было темно и тихо. Над Брестом стояло исполинское зарево.

– Горит Брест, – сказал мне Вебель, ехавший со мной рядом. – Значит, конец.

– Что конец?

– Так... Разве вы не видите, что мы вошли в Россию. Может быть, так пойдем до Москвы.

Мы остановились и долго смотрели на зарево. Багровый дым клубом поднялся к небу.

– Форт взорвали, – сказал Козловский. Он подъехал к нам неслышно.

– Грозно, – сказал он, помолчав. – Что бы мне ни говорили, а в войне есть своя красота. Вот эта, там в Бресте. Это отчаяние. Снова идет Аттила, горят города, и трава не растет под копытами его лошадей. Как это верно.

– А Польша? – спросил я.

– Польша вернется. Польшу жгли и татары и шведы.

На севере началась канонада. Там была тьма, и только в полях страшно далеко грохотали обозы и были слышны протяжные крики. Санитары насторожились. До сих пор орудийный огонь шел позади нас, прихлопывая чугунным громом наши следы. Сейчас он громыхал на фланге.

– Не нравится мне этот огонь, – сказал Козловский. – Должно быть, опять прорвали. Немцы идут маршем.

К рассвету пришли в деревушку. Искали ее на карте и не нашли. Легли в стодоле на сене. Хозяин не хотел открывать

стодол и смотрел на нас растерянно и злобно. Вебель приказал выломать замок.

В стодоле было сухо и тепло, под соломой пищали мыши. Всю ночь я ворочался, не спал. Когда кто-нибудь из наших выходил, за открытой дверью дымно розовело небо.

Я лежал и думал. Тысячепудовую тяжесть навалили на плечи, и я, как все, знал только одно – что война теребит саднящую злобу, что мы ходим, говорим, улыбаемся и скрываем друг от друга главное – сознание последнего, непоправимого несчастья.

Перепахали землю, и от нее потянуло нестерпимым смрадом. Что делается в душах солдат, заскорузлых от крови, горьких от гнева и крепкой махорки? Никто не знал. Толком не знали, наверно, и они сами.

Я вспомнил долгие ночи у простого дощатого стола, голос Наташи, севастопольский день, как хрустальный стакан, налитый синей водой. Я хотел так много сказать Наташе там, в Пищице, но спазмы сжали горло, и я молчал. Глаза у нее были тревожные, материнские.

Я накинул шинель и вышел. На востоке синело. Я сел на бревно около стодола.

– Боже мой, какая тоска! – сказал я, стиснул голову руками, взял комок сухой земли и растер его между пальцами.

В поле шуршала сухая трава. Ухнула земля, и громовой раскат пошел далеко на север, в черноту. Брест горел еще ярче и шире.



## Яблочный сад

Мы все еще отстаем. Небо пожелтело от пыли, и во рту перепойная горечь. Руки пахнут лошадиным потом, – я с трудом сворачиваю махорочные сигарки.

Идем по чахлым лесам и ржавым болотам. Артиллерия разворотила шоссе. Лошади поминутно спотыкаются в глубоких ямах.

Я подолгу смотрю вперед пустыми глазами. Больше версты бежала за мной сумасшедшая гродненская баба, хватала за стремя и хотела поцеловать сапог. У нее умер ребенок, пала корова, а ее изнасиловали обозные солдаты. Я хлестнул коня и ускакал.

Редкие звезды заблестели на небе, как скупые мужские слезы. Мы шли шагом через Пружаны. За рекой в холодном пару кричали лягушки.

Ночевали мы в белом доме со стеклянным крылечком, с расстроенным роялем и глубокими мягкими креслами. Окна были открыты, из сада сладко и густо пахло яблоками.

– Совсем как у бабушки на каникулах, – говорил Козловский, дымя папиросой. – И герань, и яблоки, и лягушки квакают. Нет только гимназистки в коричневом платье, в которую полагалось влюбляться.

Мы со Щепкиным пошли в местечко. Щепкин спрашивал у всех евреев, стоявших у калиток, где здесь можно побрить-

ся. Веснушчатый юноша провел нас с заднего крыльца к старому парикмахеру.

– Вас поброть? – спросил он удивленно. – Я сам не знаю, что делать. Одни говорят – уходите, потому что будет бой и казаки подпалят местечко, другие говорят – сиди, куда ты пойдешь с малыми детьми?

– Оставайтесь, – уверенно сказал Щепкин. – Будет бой – в погреб полезете. А уйдете – все перемерете.

– Рива, – крикнул парикмахер в заднюю комнату. – Его благородие господин офицер говорит, чтобы мы да оставались.

Пришла грудастая еврейка с сизым лицом, и комната быстро наполнилась детьми, старухами, почтительными пожилыми евреями. Они волновались, кричали и показывали на парикмахера худыми желтыми пальцами.

– Мы все разом решили да не уходить, – перевел нам весь этот шум парикмахер. Потом он неожиданно рассердился и крикнул: – Дайте мне покой! Что? Должен же я поброть господ офицеров. Ша, гей авек, гей авек.

Евреи стихли и ушли.

Пока парикмахер брил Щепкина при свете жестяной лампочки, деликатно придерживая его за нос табачными пальцами, я сел к колченогому столу и потянул к себе засаленный, разорванный «Огонек». Бились о стекло мухи за желтыми заштопанными занавесками.

В тусклом зеркале я тщательно рассмотрел себя – черное,

с лихорадящими глазами лицо.

Ночью я лег с Вебелем в саду. В траву гулко падали яблоки. Во сне я ворочался и кого-то звал, кого – не помню. На рассвете я проснулся. В густую ночь сочился серый обычный день. Между яблонями стоял туман. Я посмотрел на звезды, ставшие во сто крат ярче перед рассветом, вспомнил Хатидже, встречу с Наташей, и в горле застрял шерстяной раздутый комок.

«Где нет печали? – подумал я и закурил. – В жизни нет ничего выше любви, выше сродства людей».

Падали яблоки, и пели по местечку охрипшие петухи.

## Цветут поля

Подходили к Ружанам. Долго брызгали грязью и чавкали копытами по лужам около кривых кузниц и опустошенных шинков. Долго сдавали раненых тыловому отряду. Пахнувший мылом пухлый комендант отвел нам халупу и предупредил, что он сейчас уходит на Слоним.

Через два часа, когда нас поили молоком набожная вдова-полька и ее застенчивая дочка – работница с кожевенной фабрики, пришел Козловский и приказал запрягать: немцы прорвались к северу и погибают во фланг.

– Беда, – говорили в темноте санитары, возясь около лошадей. – Не иначе как здесь измена. Что ж с им, картошкой, что ли, драться, с германцем?

– А убитых!... – добавил шепотом Полещук, наклонившись ко мне. – Так поля ими и цветут, ваше благородие. Ой, богатый будет урожай. Богатый урожай, так его и так!

– Не копать! – крикнул Козловский и крепко выругался в пространство.

Дочка хозяйки села на переднюю двуколку показать дорогу до шоссе. Черная ночь легла на местечко, капал редкий дождь. Мы медленно начали спускаться в глубокий овраг. Лошади храпели, задирали морды, скользили и осторожно нащупывали дорогу.

– Одерживай, задние, не раскатывай! – хрипло кричал

Козловский. – Что там? Брод? Не наезжай, ноги коням поломаешь! Занесла чертова сила в эту дыру!

Дождь стучал по парусиновым верхам двуколок. Лошади упорно трудились, тяжело дыша боками. За оврагом взмыла на небо и хлопнула, залив все неживым светом, боевая ракета.

– Чего пускают? – сказал Алексей. – Без толку пугаются, сволочи.

Глухо лаяла собака, запертая в хате. У околицы сидели темные кучи солдат, изредка звякали манерки, винтовки. В овраге ударил выстрел. Дочка хозяйки сошла.

– Ну, я как-нибудь добегу, – прошептала она дрожащим неуверенным голосом. – Да хранит вас мать божья.

– Чего стали? Проезжайте, – сказал из темноты молодой возбужденный голос.

Мы пошли рысью. На дороге пахло березами, мокрой корой.

– Тихо что-то очень, – сказала мне из двуколки Попова. – Ничего не понимаю, что творится.

– Стой! – негромко крикнули впереди. – Кто едет?

Козловский ответил.

Ветер шумел в старых аракчеевских березах. Потом ночь разорвал тусклый блеск и тяжкий сыплющийся грохот, будто рухнуло многоэтажное здание.

– Мост взорвали.

Нервно и часто защелкали выстрелы сотнями расколотых орехов. Войска отходили, не успевая рыть окопы. В кана-

ве у дороги негромко и испуганно перекликались солдаты:  
«Связь... связь... связь...»

Перед утром над мокрыми перелесками выползла рыжая луна. Свет ее задрожал в чернильной воде болот. Ветер гулко промчался по верхушкам берез и стряхнул за шиворот ледяные брызги. Стало холодно, неудобно.

Днем мы пришли в Слоним.

## Пустяковая рана

Над серыми селами дотлевала заря. Я отстал от своих и медленно ехал по полевой дороге. Над немецкими окопами взвилась ракета – яркий фонарь. Потом другая, третья, потом поднялись и вспыхнули, осыпая белые хлопья, целые десятки их. Они осеребрили далекий лес и поля, затянутые осенней паутиной. Защелкали выстрелы. Ударило орудие с нашей стороны, и, разгораясь за перелесками, заговорила канонада.

Веселая и звонкая шрапнель лопнула над головой, град защелкал по дороге, и в ту же минуту я почувствовал мокрую теплоту в плече, наклонился к шее коня и медленно сполз с седла. Подо мной была мягкая пыль, странная музыка играла в небе, плясали над лесом хлопья невиданных звезд.

«Должно быть, ранен», – подумал я безразлично и потерял сознание.

Я пришел в себя в холодном стоделе. На ящике горела свеча. Я был обнажен до пояса, и незнакомая сестра окровавленной марлей вытирала мне грудь. В плече застряло что-то острое, я не мог вздохнуть и вдруг почувствовал, что у меня на спине около лопатки нет кожи, а обнаженная кость и горячее рваное мясо. Давили мокрые и теплые бинты.

– Снимите повязку, – грубо сказал я пожилой сестре. – Мне жарко.

Она с усмешкой посмотрела на меня и дала мне выпить из жестяной кружки мутной валерьянки. Я попробовал поднять здоровую правую руку, но колючий обруч стиснул грудь, захрустело в левом плече и оцарапало кость.

– Сидите тихо, – сказала сестра и накинула мне на плечи парусиновый халат.

Меня перевели в халупу. Ночью я полулежал на боку и тоскливо слушал канонаду. За черными платами полей металось по ветру зарево.

– Жгут все станции на Лунинец, – сказал в соседней комнате хриплый бас.

«Ранен, – думал я бессвязно. – Где наши? Надо им завтра дать знать».

Какая тоска. Хатидже, родная, милая... Давно, страшно давно уже не было писем. Слава богу, что жив.

Я забылся. Мне снилось, что ночью пришел Вишглер и гладил мою раненую руку, что стекла расплавились от огня и во внезапной тишине монотонный голос служил панихиду. Пьяный хор разухабисто пел «Со святыми упокой». Мне снилось, что Алексей схватил меня за больное плечо и крикнул что-то о Наташе, и я скакал всю ночь по оврагам, задыхаясь от ужаса. На перекрестке, под черным распятием, я встретил старика, сдержал коня и спросил, как проехать на Брест. Он молчал. Я тронул его за плечо и увидел, что он был мертв: его закатившиеся белки были красными от зарева.

Я проснулся. В углах халупы шуршали тараканы. Я потро-



гал опухшую руку и тихо заплакал. Впервые за время войны я понял, как ненужно и глупо было все это.

Я кусал щетинистое солдатское одеяло и сквозь слезы видел пламя пожаров в черных ненавистных полях. Дряхлеет сердце. Станным далеким криком звенит душа, натянутая в струну.

– Боже, – тихо сказал я и дотронулся до обескровленной плети-руки. – Лишь бы вынести! Лишь бы донести до лет, что наступят после войны, все, что прожито, не расплескать. Кровью, горечью, ядом сукровицы, горячечным огнем выжечь из себя всякую память, все следы этих месяцев.

Снова начался бред.

В бреду я видел, как Наташа в синем коротком платье шла со мной по каменной набережной к морю. Впереди плавился в солнце, как глыба снега, океанский белый пароход. На пароходе звонили в колокол. Воздух был тонок и странен. Море качалось со свежим шумом, серебряные рыбы летали над гаванью, далекие плавания сверкнули нам в глаза, как оперение синих птиц, их крылья задевали мое больное плечо. Я вскрикивал от боли.

Весь день двуколку трясло по полевой дороге. Вечером меня перенесли в жаркий вагон санитарного поезда и вскоре увезли. Никого из наших я больше не видел.

Голубые огни вокзалов. Лица незнакомых врачей, запах масляной краски, грохот колес, тяжелые сны, горячий пот, стоны, и снова печальные сны.

Потом помню сероватый вечер, речонку в полях, синий церковный купол и заросшие травой улицы дрянного городка в Тульской губернии.

## Город в полях

Лазарет был размещен в бывшем винном складе. Надтреснуто бренчали колокола убогих церквушек и скрипели, подымая пыль, крестьянские телеги. Вечерами за рекой, озерами подымался туман, пахло из-за околиц ржаными полями, покоем. В розовых далях заходило неторопливое, деревенское солнце. На Черкесской слободе пели бабы, и я невольно откладывал в сторону растрепанный том «Русской мысли». Говорил я мало и неохотно. Я похудел, около губ протянулись две тонкие морщины. Часто болела голова.

Ночи были тягучие, ветреные, о стекла шумела сухая листва. Когда рана поджила, я стал ходить за город в кладбищенскую рощу. Я проходил мимо гостиного двора, голубых и желтых домишек с колоннами, через базар, где мужики продавали с телег яблоки-цыганки. В роще небо было позолочено листвой. Нежаркое солнце низко сияло над яблочными садами.

Со мной в палате лежали два прапорщика из сибирских приказчиков, такие же бездомные, как и я. Весь день они молча играли в шахматы и осыпали пеплом толстых самодельных папирос подушки и одеяла.

Я начал писать и со злобой бросил. Кому это нужно? Изорванные листы бумаги долго валялись среди листьев и сора под немывтым окном.

Однажды мы втроем пошли на маскарад в общественное собрание. В зеленых трактирных сенях было кучами свалено платье. Наверху рывкал медью пожарный оркестр. Помню ситцевые платья девиц, их ситцевые круглые глазки, мамаш в черном стеклярусе, запах пота, гаснущие лампы и лихую «камаринскую», от которой ходуном ходили полы.

Я ушел. Болела голова. Я бродил по темным улицам и не находил себе места от тоски, потом прошел в рощу и просидел до утра на сырой деревянной скамейке. Я думал о чем-то умершем во мне, что, я знал, никогда не вернется. В полях лежала проклятая волчья тишина.

Утром, когда я вернулся в лазарет, на столе около лужицы от пролитого чая лежала телеграмма.

«Максимову», – прочел я на ней, вскрыл ее и, плохо понимая, прочел размашистые писарские строчки:

«Наташа скончалась сыпного Несвиже около Минска. Есть письмо ваше имя. *Семенов*».

Ночью у меня был жар, и снова, как тогда в халупе, я шел с Наташей к белой громаде парохода, ветер дул нам в лицо, и синие птицы кувыркались над красными черепичными крышами.

– Умерла, – громко сказал я и добавил шепотом: – Приидите, последнее целование дадим. Теперь во всем мире осталось нас двое – Хатидже и я. Жизнь задушит нас.

– Задушит, – тихо повторял я, вздрагивая.

Дождь скучно стучал по черным стеклам.

Утром я выписался и уехал в Москву.

## Венок из клена

С Курского вокзала я проехал к Арбатским воротам и оттуда пошел на Ордынку к Семенову.

«Милая Москва, – думал я, глядя на яркие купола Спасителя, на Гоголя в золоте Пречистенского бульвара. – Милая, грустная Москва».

На влажном песке бульвара были отгиснуты узкие женские следы.

Я долго стоял около двери Семенова, потом позвонил. Открыла мне старуха нянька, охнула и заплакала. Ее седая голова задрожала. Стараясь не глядеть по сторонам, я прошел в кабинет. Семенова не было дома. На столе лежал конверт на мое имя. Я взял его, засунул за обшлаг шинели и вышел. Тяжело хлопнула дверь.

Цепляя шпорами за ступеньки, с мутной головой я спустился и пошел в сторону Сухаревки. Было холодно, солнечно, женщины уже кутались в легкие меха. Бульвары роняли последние листья.

Я добрел до Виндавского вокзала, сел в пустой дачный поезд и сошел в Павшине. Дали синели, замерзшие лужи хрустели под ногами, как стекло. По полям, ломая сухие стебли, я прошел в Архангельское.

Я долго бродил по заросшим аллеям парка, останавливался, гладил рукой красные стволы сосен, глядел сквозь ветви

на яркую синеву неба. Солнце горело на желтых колоннах юсуповского дворца.

Дворцовый пруд тонко розовел на закате, был затянут коркой хрупкого льда. Я потрогал лед ногой, вынул шашку и острым блестящим клинком написал на льду «Наташа». Красные листья клена, медленно кружась, падали на пруд, ложились венком вокруг милого имени.

Что было потом, я плохо помню. Ясно помню только утро за Минском. Скупой рассвет синел на первом снегу, дремали на пригорке сосновые перелески. Поезд долго стоял на разъезде. Я вышел из холодного вагона, спрыгнул на снег, и за мной остались черные большие следы. Впереди горнист заиграл на трубе. Раздув перья, сидели на телеграфных проводах воробьи. За лесом я опять услышал глухой и далекий удар орудийного выстрела.

В этот миг я понял свое одиночество, недосказанную боль, накопленную в душе, всю тяготу этих серых шершавых дней, насильно втиснутых в жизнь.

«Это конец, – подумал я, ежась от холода. – Я распят на кресте этих проклятых военных будней, этих длинных антрактов перед глухим сумасшествием».

«Бежать! – подумал я с облегчением. – Увидеть тот грязный еврейский дом, где она умерла, и бежать».

«Моя любовь, – пишет она в письме, – такая большая, что я не в силах носить ее в себе. Я вся полна нетронутой нежностью. Пойми. Ведь ты можешь это понять».

Бежать туда, к Хатидже. Я сожму ее руки, я буду просить, чтобы она научила меня ничего не помнить. Свежие дожди и море смоют горечь этих дней. Ветры освежат воспаленную голову.

Поезд сильно дернуло. Пронзительно в ужасе и плаче запела труба. В гнилом тумане, в испарениях лошадиной мочи ползли по полям обшарпанные обозы.



## Спустя неделю

Спустя неделю Хатидже приехала в маленький тульский городок, где лежал в лазарете Максимов. Максимова она не застала.

Она расспросила врача и двух застенчивых прапорщиков-сибиряков и, печальная, похудевшая, едва сдерживая слезы, побродила по кривым улицам, по грязи, засыпанной лимонными листьями, и пришла под вечер на вокзал к московскому поезду.

Поезд сильно запаздывал. Хатидже, дожидаясь, медленно пошла вдоль полотна к семафору. Ветер густо наваливал первый снег, было темно и дико. На Слободке лаяли охрипшие псы. Она вдруг вспомнила смерть Винклера – мертвая тоска жала ей сердце и вернула силы.

«Максимов не умрет, он не смеет умирать – жизнь только начинается», – подумала она и повернула к вокзалу.

Была ночь, вечер хлестал мокрым снегом, и городок мигал в крошечную тьму старческими слезящимися огнями.

*Таганрог – Москва – Одесса  
1916—1923*

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## **Записка зав. Отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР Н. Казьмина в ЦК КПСС о нецелесообразности публикации статьи К. Паустовского «Кому передавать оружие?»»**

*Представляю рукопись статьи К. Паустовского «Кому передавать оружие?», переданную писателем из Ялты 8 мая с. г. в редакцию газеты «Литература и жизнь» для опубликования в газете среди материалов к III Всесоюзному съезду писателей СССР.*

*Отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР считает, что статью К. Паустовского «Кому передавать оружие?» публиковать не следует.*

*Зав. Отделом науки, школ  
и культуры ЦК КПСС по РСФСР  
Н. Казьмин*

# К. Паустовский. КОМУ ПЕРЕДАВАТЬ ОРУЖИЕ?

*Передано по телефону в 19 час 8'/V -1959 г. в редакцию газеты «Литература и жизнь» из Ялты*

*Скоро наступит время, когда старшее поколение писателей передаст свое оружие молодым. Поэтому все чаще вспоминаются пушкинские слова: Чей глас умолк на дружной<sup>5</sup> перекличке? Кто не пришел? Кого меж нами<sup>6</sup> нет?*

*В сознании необходимости передать свое оружие молодым нет и не может быть ни горечи, ни сожалений. Это так же естественно, как весенний рост травы.*

*Пожалуй, придется с первых слов этой статьи оговориться, чтобы быть правильно понятым. Частая и скучная необходимость оговариваться в нашей писательской работе вызвана тем, что некоторая часть писателей и критиков относится к литературе с недоверием, как к занятию каверзному, тревожащему ум и пытающемуся нарушить однообразие мысли.*

*Пишу я об этом потому, что предвижу возражения даже против заголовка этой статьи.*

*Обязательно найдется какой-нибудь литературный за-*

---

<sup>5</sup> Так в документе. У Пушкина: «на братской».

<sup>6</sup> У Пушкина: «меж вами».

конник или обыкновенный притворщик, который начнет назидательно разглагольствовать о том, что писатель не должен сдавать свое оружие никому и держать в пальцах перо до последнего вздоха. Ни нам, ни читателям эти поучения не нужны. Мы все это великолепно знаем и в силу своего призвания выполняем свой долг.

Тревога старшего поколения писателей за судьбу литературы естественна и элементарно понятна. Эта тревога должна вызвать пристальное внимание старых писателей к новому, молодому писательскому поколению, идущему на смену. Но, как это ни странно, этого внимания к молодым очень мало и большинство наших писателей не оставляет учеников. Я говорю о писателях подлинных, признанных, стоящих в первых рядах создателей советской литературы.

Тревога старшего поколения писателей за будущее литературы законна еще и потому, что у этого поколения мало надежд на себя. Все надежды могут быть отнесены почти целиком к молодым.

Старшее поколение писателей прожило жизнь, которой хватило бы на десять поколений наших предков. Старшее поколение – об этом надо сказать честно и прямо – тратило гораздо больше драгоценных и необратимых сил не на создание великопейной, значительной и новаторской литературы (как это и должно быть), а на ненужную борьбу со всем тем, что покалечило литературу на корню, – с ме-

лочной опекой над творческой мыслью, с заведомой ложностью и несправедливостью многих оценок, с упорством и тяжельм, стремлением отобрать у писателя силы, время на околотературные и подчас незначительные дела.

Самая большая и наиболее ценная для народа, для строительства социалистического государства, для воспитания будущих поколений общественная работа писателя – это его книги, это – сохранение его таланта в чистоте и силе. Неловко говорить об этом, но писатель должен писать – в этом его жизненное назначение.

Литературная жизнь должна идти чистой, широкой, свежей волной, сопровождаться всем богатством явлений, относящихся к творчеству.

У нас в стране писатель не должен тратить силы на борьбу с возможностью наибольшего проявления своего таланта. Если же ему приходится за это бороться, то это означает, что в литературную жизнь иногда «просачиваются» скучные и мутные люди, скрывающие свою сущность доктринеров под личиной защитников революционной теории и практики.

Можно ли ждать очень многого от старшего поколения писателей, может ли это поколение целиком отвечать сейчас за состояние и развитие нашей литературы? Пожалуй, нет. Или, говоря точнее, уже нет: передача литературного оружия молодежи началась. С каждым годом, да, пожалуй, с каждым месяцем, появляются в нашей литературе новые

имена: их не так уж мало, как может показаться на первый взгляд, ведь литература – это не массовая кампания.

В чем нуждается наша литературная молодежь? Прежде всего и, пожалуй, главнее всего в том, чтобы талантливые вещи молодежи печатались, а не уныло кочевали из редакции в редакцию по вине нерадивых, равнодушных, а порой и недобросовестных людей.

Союзу писателей, пробавляющемуся преимущественно полумерами, следовало бы проверить творческое и материальное положение нашей литературной молодежи, проверить очень строго, чтобы огра-дитъ молодежь от редакционного произвола. К сожалению, большинство редакторов учит молодежь трусости и легкому отказу от своей писательской индивидуальности.

Кстати, здесь следует сказать несколько слов о Литературном институте. Главная его задача – воспитывать у молодых писателей чистое и преданное отношение к делу, с тем чтобы понятие профессии было заменено в сознании молодых писателей понятием призвание. Ради призвания человек смело идет на жертвы, на борьбу, а если это понадобится – и на смерть.

В нынешнем его состоянии Литературный институт вряд ли может воспитывать подлинно социалистическую молодежь. Достаточно того, что в институте на Высших литературных курсах были проявления шовинизма и антисемитизма. Тут тоже нужно вмешательство Союза писа-

телей и ЦК комсомола, чтобы выяснить, как могло в стенах передового института возникнуть такое позорящее явление, совершенно дикое и нетерпимое в преддверии к коммунизму.

Я не могу перечислить здесь всех талантливых и молодых писателей, всю ту армию молодого поколения, которое призвано сменить старших и взять на себя великую задачу преемственности. Я просто многих молодых писателей не знаю. Но те, кого я знаю, не только талантливы, не только являются плотью от плоти своего народа, не только стремятся быть наравне со своим веком, но и обладают подлинным мастерством, а иные из них даже столь высоким, что признанным писателям стоило бы тоже у них поучиться.

Кому же из молодых старшее поколение писателей может спокойно передать судьбу литературы? Зная их талант и веря в их стойкость и бескорыстность, у каждого писателя есть, очевидно, свои списки. Что касается меня, то я приведу несколько имен. Я уверен, что к моему списку присоединятся многие. Вот эти имена: В. Тендряков – его писательский талант признан и бесспорен. Кстати, я помню, Тендряков совсем недавно был почти мальчиком, похожий на северного застенчивого подпaska; Юрий Казаков – писатель большой, зоркий, с поразительной для его возраста зрелостью; Ричи Достян – молодая ленинградская писательница с такой остротой восприятия нашей действительности, что ее вещи приобретают ясность и вырази-

тельность почти классическую; Юрий Бондарев – его вещи о войне резко выделяются среди множества вялых военных рассказов и повестей, написанных как бы «по долгу службы». Глубоко искренняя Наташа Тарасенкова; зоркий, беспощадный и смело обличающий Анатолий Злобин; всегда весь в поисках Борис Балтер, Андрей Меркулов и еще многие. Макс Бременер, Михаил Коришнов, Инна Гофф – это уже крупный костяк литературы наших дней. Они не предадут нашу литературу неправде и трусости, не обменяют ее благородство на собственное благополучие. Мы верим им. Мы любим их и знаем, как говорят старики, что теперь-то мы можем умирать спокойно.

Ялта, май 1959 г



## **Записка зав. Отделом науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСРН. Казьмина о настроениях среди писателей**

*16 мая с. г. в Отделе науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР главный редактор газеты «Литература и жизнь» тов. Полторацкий заявил, что он считает необходимым информировать ЦК КПСС о настроениях среди писателей, группировавшихся ранее вокруг альманаха «Литературная Москва».*

*В связи с предстоящим III Всесоюзным съездом писателей СССР, как рассказал В. Полторацкий, писатели, сотрудничавшие в свое время в альманахе «Литературная Москва», неоднократно собирались и обсуждали наиболее актуальные вопросы современной советской литературы. Многие из этих писателей дважды встречались в гор.Ялте. Последняя встреча в Ялте особенно вызывает большую тревогу в смысле активизации данной группы, ее попытки развернуть проповедь прежних политически вредных взглядов.*

*Следует отметить, что среди писателей, собиравшихся в Ялте, нет единой точки зрения на формы и методы проведения своей линии в литературе. Существуют два мнения – Э.Казакевича и К. Паустовского. Э. Казакевич считает,*

что следует продолжать линию молчания и таким образом оказывать свое влияние. Его поддерживают В. Каверин и В. Рудный. К Паустовский ратует за развертывание активных действий. К Паустовский так объяснял свою позицию: «Пастернаку ничего не сделали. Теперь не садят в тюрьму. Ничего и нам не сделают. Не могут что-либо сделать: боятся мнения международной общественности. Теперь не так легко обидеть писателя. Настало время и нам выступить». К. Паустовского активно поддерживает В. Тендряков.

К. Паустовский выдвинул идею о занятии командных высот в периодических печатных органах людьми, близкими к писателям, группировавшимся ранее вокруг альманаха «Литературная Москва». Он поставил также вопрос о необходимости завладения умами талантливой и творческой молодежи. Это уже начинает себя давать знать. Ю. Бондарев введен в члены редколлегии «Литературной газеты», В. Огнев введен в какую-то редакцию журнала, кажется, заведующим отделом литературы и искусства журнала «Культура и жизнь», куда-то вводится А. Турков. В журнал «Дружба народов» предполагается ввести в качестве члена редколлегии В. Тендрякова.

Как видно, в результате этих совещаний появились статьи Паустовского: «Бесспорные и спорные мысли» и «Кому передавать оружие?». Последняя статья является по существу перепевом известного выступления Паустовского в

*1956 году.*

*Об этом считаем необходимым информировать ЦК КПСС.*

# Докладная записка в ЦК КПСС

23 декабря 1961 г.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР

*Калужским областным книжным издательством в октябре с. г. выпущен литературно-художественный иллюстрированный сборник «Тарусские страницы».*

*Ознакомление с содержанием этого сборника показало, что в него вошел ряд произведений, неполноценных по своим идейно-художественным качествам, искажающих жизнь нашей деревни и советских людей. Так, например, в рассказах Ю.Казакова «Запах хлеба», «Ни стуку, ни грюку», «В город» колхозная деревня, ее быт, взаимоотношения людей, их поступки и нравственные качества показаны в извращенном виде. На первый план выдвигаются уродливые стороны быта, нехарактерные для наших дней взаимоотношения между людьми, проводится идея о нездоровом влиянии города на формирование взглядов и отношений между людьми колхозной деревни.*

*Следует отметить, что эти рассказы Ю. Казакова, как сообщил заместитель председателя правления издательства «Советский писатель» т. Козлов, были отвергнуты издательством за их идейную неполноценность при составлении сборника рассказов Ю.Казакова «По дороге».*

Из-за идейного срыва поэта была также отвергнута издательством «Советский писатель» поэма В. Корнилова «Шофер», включенная в данный сборник. В этой поэме во многих местах неправильно описываются события, связанные с призывом партии к молодежи об освоении целины. Целина показана как место для неудачников, людей, которым не повезло в жизни. Отсутствует героика освоения целины. Отдельные главы поэмы, в которых описывается жизнь страны, содержат политически ошибочные и клеветнические утверждения. Автор явно противопоставляет «начальство» народу, считает, что в распределении материальных благ в стране отсутствует справедливость. Такого положения, когда «народ живет небогато» и «мается», не было бы, по утверждению автора, если бы был жив Ленин (стр. 26, гл. 9) – Говоря о ночной Москве, автор пишет о «ночных девочках», пьяных летчиках, выходящих из ресторанов, о сердобольных вдовах и т. п.

Отдельные произведения, которые раньше по рекомендации Главлита СССР снимались редакциями журналов «Юность» и «Новый мир» по мотивам их низкого художественного уровня или порочного идейного содержания, оказались включенными в данный сборник. Так, например, наряду с другими произведениями поэта Н Заболоцкого опубликовано его стихотворение «Прохожий» – явно упаднического характера и пессимистическое по настроению. Герой этого произведения – демобилизованный солдат. Он завидует по-

*гибшему летчику, его покою, т. к. мертвого не преследуют большие беды, горе и тревоги, как преследуют они его – живого солдата.*

*Повесть В. Максимова «Мы обжигаем землю», включенная в сборник, также была снята в свое время из журнала «Юность», №12, 1960 г., за ее идейную порочность.*

*При составлении сборника редакционная коллегия, которая состоит из авторов, чьи произведения вошли в состав «Тарусских страниц» (В. Кобликов, Н Отмен, Н. Панченко, К. Паустовский, Арк. Штейнберг), подошла нетребовательно, без должного отбора и учета актуальности и художественной ценности произведения, а руководствовалась беспринципными соображениями, включив в сборник главным образом то, что было написано в Тарусе, или если автор имел какое-нибудь близкое или далекое отношение к географическому пункту.*

*На наш взгляд, ошибкой является включение в сборник более сорока декадентских стихов М. Цветаевой, написанных ею главным образом в годы пребывания ее в белой эмиграции. Многие из них отражают неприятие ею Октябрьской революции, отчужденность от Родины и упаднические настроения. Но, несмотря на это, редколлегия предпослала циклу стихов М. Цветаевой статью Всеволода Иванова, непомерно восхваляющего Цветаеву как «высокоодаренного и оригинального поэта», творчество которого, по его мнению, очень близко творчеству великого русского поэта Н.А*

*Некрасова.*

*Обращает на себя внимание необычно шумная реклама, которая создалась вокруг этого издания до выхода его в свет. Так, газета «Советская Россия» в номере от 19 сентября с. г. поместила заметку своего корреспондента из Калуги, в которой он восторженно отзывается о сборнике: «...книга еще не вышла в свет, но читатели уже ждут ее, работники типографии, где сейчас верстаются „Тарусские страницы“, уже с интересом читают листы, свежего набора». В заключение говорится: «Хорошо подготовленный калужским издательством альманах должен подсказать другим издательствам путь к созданию таких полноценных интересных литературных сборников».*

*В № 47 «Недели» за 1961 год в отчете о встрече писателей за «круглым столом» в редакции этого еженедельника дается выступление К. Паустовского, в котором он объясняет выпуск сборника желанием группы старых писателей дать возможность молодым писателям опубликовать свои произведения, так как, по его утверждению, «нашей литературной молодежи трудно печататься».*

*В своей докладной записке Главлиту СССР начальник калужского областного управления по охране военных и государственных тайн в печати т. Овчинников сообщил, что калужский обллит, куда поступил на контроль сборник «Тарусские страницы», считал выпуск его в таком виде нежелательным. Об этом обллит письменно доложил обко-*

*му КПСС. Калужским обкомом было проведено совещание по обсуждению сборника. Несмотря на то, что при обсуждении ряд произведений, намеченных к опубликованию, вызвал серьезную критику со стороны литературной общественности гор. Калуги, под нажимом авторов и редколлегии во главе с писателем К. Паустовским сборник был выпущен в свет.*

*В настоящее время из намеченных к изданию 75 тысяч тиража сборника изготовлено только 30 тысяч экземпляров. Дальнейшее изготовление тиража приостановлено из-за отсутствия бумаги.*

*Учитывая изложенное, полагаем, что Калужское книжное издательство, выпустив сборник «Тарусские страницы», допустило ошибку. Считаем целесообразным дальнейшее печатание сборника не производить и просим поручить соответствующим отделам ЦК КПСС рассмотреть этот вопрос.*

*Начальник главного  
управления по охране военных  
и государственных тайн в печати  
при Совете Министров СССР П. РОМАНОВ*



# ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ЦК КПСС по РСФСР

*[проект]*

*Совершенно секретно*

## ОБ ОШИБКЕ КАЛУЖСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

*Бюро ЦК КПСС по РСФСР отмечает, что Калужское областное книжное издательство допустило серьезную ошибку, выпустив в свет массовым тиражом литературно-художественный сборник «Тарусские страницы», содержащий ряд произведений, написанных на низком идейно-художественном уровне. Некоторые стихи, рассказы и повести, включенные в сборник, ранее были отвергнуты центральными издательствами. Директор издательства т. Сладкое А Ф. безответственно отнесся к выпуску сборника, не организовав его обсуждение на редакционно-издательском совете, чем грубо нарушил установленный порядок подготовки рукописей к печати, не обеспечил издательское редактирование книги. Секретарь обкома КПСС т. Сургаков А К. лично просматривал сборник, читал некоторые включенные в него*

произведения, но не дал им принципиальной оценки и не возражал против их опубликования.

Бюро ЦК КПСС по РСФСР постановляет:

1. За беспечное отношение к изданию сборника «Тарусские страницы» и неудовлетворительное руководство областным издательством секретарю Калужского обкома КПСС т. Сургакову А К объявить выговор.

Принять к сведению, что за грубое нарушение установленного порядка в издании литературы и безответственность, проявленную при подготовке сборника «Тарусские страницы» к печати, бюро Калужского обкома КПСС объявило строгий выговор директору издательства т. Сладкову А Ф., а главного редактора т. Левита Р. Я. освободило от работы.

2. Обязать Калужский обком КПСС улучшить руководство издательством, укрепить его квалифицированными кадрами, активизировать работу редакционно-издательского совета, расширить авторский состав за счет новаторов производства и специалистов промышленности, сельского хозяйства и культуры.

3. Рекомендовать правлению Союза писателей РСФСР обсудить сборник «Тарусские страницы» и принять меры к усилению связи творческих организаций литераторов областей, краев, республик с местными издательствами и оказанию им практической помощи в работе над изданием литературно-художественных произведений.

*Е. К. Лигачев, Е. М. Чехарин*